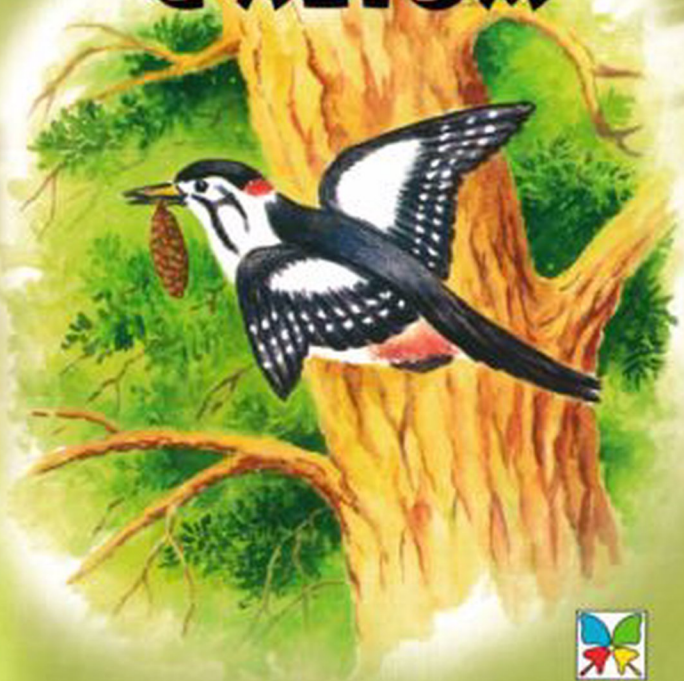
Родная природа

К. ПАУСТОВСКИЙ

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Читаем дома и в школе



Machaon

Прощание с летом. Рассказы и сказки [сборник 2004, худ. Романов В. В.]

Константин Георгиевич Паустовский

Аннотация
Константин Георгиевич Паустовский. Прощание с летом. Рассказы и сказки
Летние дни
Золотой линь
Последний черт
Заячьи лапы
Кот-ворюга
Резиновая лодка
Барсучий нос
Сивый мерин
Жильцы старого дома
Собрание чудес
Подарок
Прощание с летом
Дремучий медведь
Теплый хлеб
Артельные мужички

Аннотация

В книгу вошли лучшие рассказы и сказки известного русского писателя Константина Георгиевича Паустовского. Страстный любитель путешествий, он много бродил по родному краю, а потом описывал свои наблюдения. В его книгах мы видим лесные озера с темной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, слышим крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, шорох дождей в рыжей воде…

Чтение книг писателя поможет детям ближе познакомиться с родной природой, узнать много нового и интересного об окружающем нас мире.

Для среднего школьного возраста.

Художник В. Романов.

Константин Георгиевич Паустовский
Прощание с летом
Рассказы и сказки

Родная природа

Читаем
дома
и в школе

К. ПАУСТОВСКИЙ

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Рассказы и сказки



Москва
«Махаон»
2004

Художник В. Романов
Составитель В. Рябченко

© К. Паустовский, наследники, 2004
© Издательство «Махаон», 2004

Летние дни



Все, что рассказано здесь, может случиться с каждым, кто прочтет эту книгу. Для этого нужно только провести лето в тех местах, где есть вековые леса, глубокие озера, реки с чистой водой, заросшие по берегам высокими травами, лесные звери, деревенские мальчишки и болтливые старики. Но этого мало. Все, что рассказано здесь, может случиться только с рыболовами!

Я и Рувим, описанный в этой книге, мы оба

гордимся тем, что принадлежим к великому и беззаботному племени рыболовов. Кроме рыбной ловли, мы еще пишем книги.

Если кто-нибудь скажет нам, что наши книги ему не нравятся, мы не обидимся. Одному нравится одно, другому совсем иное — тут ничего не поделаешь. Но если какой-нибудь задира скажет, что мы не умеем ловить рыбу, мы долго ему этого не простим.

Мы провели лето в лесах. С нами был чужой мальчик; его мать уехала лечиться к морю и попросила нас взять ее сына с собой.

Мы охотно взяли этого мальчика, хотя были совсем не приспособлены к тому, чтобы возиться с детьми.

Мальчик оказался хорошим другом и товарищем. В Москву он приехал загорелый, здоровый и веселый, привыкший к ночевкам в лесу, к дождю, ветру, жаре и холоду. Остальные мальчики, его товарищи, ему потом завидовали. И завидовали недаром, как вы это сейчас увидите из нескольких маленьких рассказов.

Золотой линь

Когда в лугах покосы, то лучше не ловить рыбу на луговых озерах. Мы знали это, но все-таки пошли на Прорву.

Неприятности начались сейчас же за Чертовым мостом. Разноцветные бабы копнили сено. Мы решили их обойти стороной, но они нас заметили.

— Куды, соколики? — закричали и захохотали бабы. — Кто удит, у того ничего не будет!

— На Прорву подались, верьте мне, бабочки! — крикнула высокая и худая вдова, прозванная Грушей-пророчицей. — Другого пути у них нету, у горемычных моих!

Бабы нас изводили все лето. Сколько бы мы ни наловили рыбы, они всегда говорили с жалостью:

— Ну что ж, хоть на ушицу себе наловили, и то счастье. А мой Петька надысь десять карасей принес, и до чего гладких — прямо жир с хвоста капает!

Мы знали, что Петька принес всего двух худых карасей, но молчали. С этим Петькой у нас были свои счеты: он срезал у Рувима крючок и

выследил места, где мы прикармливали рыбу. За это Петьку, по рыболовным законам, полагалось вздуть, но мы его простили.

Когда мы выбрались в некошеные луга, бабы стихли.

Сладкий конский щавель хлестал нас по груди. Медуница пахла так сильно, что солнечный свет, затопивший рязанские дали, казался жидким медом.

Мы дышали теплым воздухом трав, вокруг нас гулко жужжали шмели и трещали кузнечики.

Тусклым серебром шумели над головой листья столетних ив. От Прорвы тянуло запахом кувшинок и чистой холодной воды.

Мы успокоились, закинули удочки, но неожиданно от лугов приплелся дед, по прозвищу Десять процентов.

— Ну, как рыбка? — спросил он, щурясь на воду, сверкавшую от солнца. — Ловится?

Всем известно, что на рыбной ловле разговаривать нельзя.

Дед сел, закурил махорку и начал разуваться.

— Не-ет, нынче клевать у вас не будет, нынче рыба заелась. Шут ее знает, какая ей насадка нужна!

Дед помолчал. У берега сонно закричала ля-

гушка.

— Ишь стрекочет! — пробормотал дед и взглянул на небо.

Тусклый розовый дым висел над лугом. Сквозь этот дым просвечивала бледная синева, а над седыми ивами висело желтое солнце.

— Сухомень! — вздохнул дед. — Надо думать, к вечеру ха-ароший дождь натянет.

Мы молчали.

— Лягва тоже не зря кричит, — объяснил дед, слегка обеспокоенный нашим угрюмым молчанием. — Лягва, милок, перед грозой завсегда тревожится, скачет куды ни попало. Надысь я ночевал у паромщика, уху мы с ним в казанке варили у костра, и лягва — кило в ней было весу, не меньше, — сиганула прямо в казанок, там и сварилась. Я говорю: «Василий, остались мы с тобой без ухи», а он говорит: «Черта ли мне в той лягве! Я во время германской войны во Франции был, и там лягву едят почем зря. Ешь, не пужайся». Так мы ту уху и схлебали.

— И ничего? — спросил я. — Есть можно?

— Скусная пища, — ответил дед. — И-и-их, милый, гляжу я на тебя, все ты по Прорвам шатаешься. Хошь, я тебе пиджачок из лыка сплету? Я сплел, милок, из лыка цельную тройку — пиджак,

штаны и жилетку — для выставки. Супротив меня нет лучшего мастера на все село.

Дед ушел только через два часа. Рыба у нас, конечно, не клевала.

Ни у кого в мире нет столько самых разнообразных врагов, как у рыболовов. Прежде всего — мальчишки. В лучшем случае они будут часами стоять за спиной, сопеть и оцепенело смотреть на поплавок.

Мы заметили, что при этом обстоятельстве рыба сейчас же перестает клевать.

В худшем случае мальчишки начнут купаться поблизости, пускать пузыри и нырять, как лошади. Тогда надо сматывать удочки и менять место.

Кроме мальчишек, баб и болтливых стариков, у нас были враги более серьезные: подводные коряги, комары, ряска, грозы, ненастье и прибыль воды в озерах и реках.

Ловить в коряжистых местах было очень заманчиво — там пряталась крупная и ленивая рыба. Брала она медленно и верно, глубоко топила поплавок, потом запутывала леску о корягу и обрывала ее вместе с поплавком.



Тонкий комариный зуд приводил нас в трепет. Первую половину лета мы ходили все в крови и опухолях от комариных укусов. В безветренные жаркие дни, когда в небе сутками стояли на одном месте все те же пухлые, похожие на вату облака, в заводях и озерках появлялась мелкая водоросль, похожая на плесень, — ряска. Вода затягивалась липкой зеленой пленкой, такой толстой, что даже грузило ее не могло пробить.

Перед грозой рыба переставала клевать — она боялась грозы, затишья, когда земля глухо дрожит от далекого грома.

В ненастье и во время прибыли воды клева не было.

Но зато как хороши были туманные и свежие утра, когда тени деревьев лежали далеко на воде и под самым берегом ходили стаями неторопливые пучеглазые голавли! В такие утра стрекозы любили садиться на перяные поплавки, и мы с замиранием сердца смотрели, как поплавок со стрекозой вдруг медленно и косо шел в воду, стрекоза взлетала, замочив свои лапки, а на конце лески туго ходила по дну сильная и веселая рыба.

Как хороши были красноперки, падавшие живым серебром в густую траву, прыгавшие среди одуванчиков и кашки! Хороши были закаты вполнеба над лесными озерами, тонкий дым облаков, холодные стебли лилий, треск костра, кряхтенье диких уток.

Дед оказался прав: к вечеру пришла гроза. Она долго ворчала в лесах, потом поднялась к зениту пепельной стеной, и первая молния хлестнула в далекие стога.

Мы просидели в палатке до ночи. В полночь

дождь стих. Мы разожгли большой костер, обсохли и легли вздремнуть.

В лугах печально кричали ночные птицы, и белая звезда переливалась над Прорвой в чистом предутреннем небе.

Я задремал. Разбудил меня крик перепела.

«Пить пора! Пить пора! Пить пора!» — кричал он где-то рядом, в зарослях шиповника и крушины.

Мы спустились с крутого берега к воде, цепляясь за корни и травы. Вода блестела, как черное стекло; на песчаном дне были видны дорожки, проложенные улитками.

Рувим закинул удочку недалеко от меня. Через несколько минут я услышал его тихий призывный свист. Это был наш рыболовный язык. Короткий свист три раза значил: «Бросайте всё и идите сюда».

Я осторожно подошел к Рувиму. Он молча показал мне на поплавок. Клевала какая-то странная рыба. Поплавок качался, осторожно ерзал то вправо, то влево, дрожал, но не тонул. Он стал наискось, чуть окунулся и снова вынырнул.

Рувим застыл — так клюет только очень крупная рыба.

Поплавок быстро пошел в сторону, остановил-

ся, выпрямился и начал медленно тонуть.

— Топит, — сказал я. — Тащите!

Рувим подсек. Удилище согнулось в дугу, леска со свистом врезалась в воду. Невидимая рыба туго и медленно водила леску по кругам. Солнечный свет упал на воду сквозь заросли ветел, и я увидел под водой яркий бронзовый блеск: это изгибалась и пятилась в глубину пойманная рыба. Мы вытащили ее только через несколько минут. Это оказался громадный ленивый линь со смуглой золотой чешуей и черными плавниками. Он лежал в мокрой траве и медленно шевелил толстым хвостом.

Рувим вытер пот со лба и закурил.



Мы больше не ловили, смотали удочки и пошли в деревню.

Рувим нес линя. Он тяжело свисал у него с плеча. С линя капала вода, а чешуя сверкала так ослепительно, как золотые купола бывшего монастыря. В ясные дни купола были видны за тридцать километров.

Мы нарочно прошли через луга мимо баб. Они, завидев нас, бросили работу и смотрели на линя,

прикрыв ладонями глаза, как смотрят на нестерпимое солнце. Бабы молчали. Потом легкий шепот восторга прошел по их пестрым рядам.

Мы шли через строй баб спокойно и независимо. Только одна из них вздохнула и, берясь за грабли, сказала нам вслед:

— Красоту-то какую понесли — глазам больно!

Не торопясь мы пронесли линя через всю деревню. Старухи высовывались из окон и глядели нам в спину. Мальчишки бежали следом и канючили:

— Дядь, а дядь, где пымал? Дядь, а дядь, на што клюнуло?

Дед Десять процентов пощелкал линя по золотым твердым жабрам и засмеялся:

— Ну, теперь бабы языки подожмут! А то у них все хахоньки да хихоньки. Теперь дело иное, серьезное.

С тех пор мы перестали обходить баб. Мы шли прямо на них, и они нам ласково кричали:

— Ловить вам не переловить! Не грех бы и нам рыбки принести.

Так восторжествовала справедливость.

Последний черт

Дед ходил за дикой малиной на Глухое озеро и вернулся с перекошенным от страха лицом. Он долго кричал по деревне, что на озере завелись черти. В доказательство дед показывал порванные штаны: черт якобы клюнул деда в ногу, порвал рядно и набил на колене большую ссадину.

Деду никто не верил. Даже сердитые старухи шамкали, что у чертей отродясь не было клювов, что черти в озерах не водятся и, наконец, что после революции чертей вообще нет и быть не может — их извели до последнего корня.

Но все же старухи перестали ходить к Глухому озеру за ягодами. Им стыдно было признаться, что на двадцатом году революции они боятся чертей, и потому в ответ на упреки старухи отвечали нараспев, пряча глаза:

— И-и-и, милый, ягод нынче нетути даже на Глухом озере. Отродясь такого пустого лета не случалось. Сам посуди: зачем нам зря ходить?

Деду не верили еще и потому, что он был чудак и неудачник. Звали деда Десять процентов. Клич-

ка эта была для нас непонятна.

— За то меня так кличут, милок, — объяснил однажды дед, — что во мне всего десять процентов прежней силы осталось. Свинья меня задрала. Ну и была ж свинья — прямо лев! Как выйдет на улицу, хрюкнет — кругом пусто! Бабы хватают ребят, кидают в избу. Мужики выходят на двор не иначе как с вилами, а которые робкие, те и вовсе не выходят. Прямо война! Крепко дралась та свинья. Ты слухай, что дальше было. Залезла та свинья ко мне в избу, сопит, зыркает на меня злым глазом. Я ее, конечно, тяпнул костылем: иди, мол, милая, к лешему, ну тебя! Тут оно и поднялось! Тут она на меня и кинулась! Сшибла меня с ног; я лежу, кричу в голос, а она меня рвет, она меня терзает! Васька Жуков кричит: «Давай пожарную машину, будем ее водой отгонять, потому ныне убивать свиней запрещено!» Народ толчется, голосит, а она меня рвет, она меня терзает! Насилу мужики меня цепами от нее отбили. В больнице я лежал. Доктор прямо удивлялся. «От тебя, — говорит, — Митрий, по медицинской видимости, осталось не боле как десять процентов». Теперь так и перебиваюсь на эти проценты. Вот оно как, милок! А свинью ту убили разрывной пулей: иная ее не брала.



Вечером мы позвали деда к себе — расспросить о черте. Пыль и запах парного молока висели над деревенскими улицами — с лесных полян пригнали коров, женщины кричали у калиток заунывно и ласково, скликая телят:

— Тялуш, тялуш, тялуш!

Дед рассказал, что черта он встретил на протоке, у самого озера. Там он кинулся на деда и так

долбанул клювом, что дед упал в кусты малины, завизжал не своим голосом, а потом вскочил и бежал до самого Горелого болота.

— Чуть сердце не хрястнуло. Вот какая получилась завертка!

— А какой из себя этот черт?

Дед заскреб затылок.

— Ну, вроде птица, — сказал он нерешительно. — Голос вредный, сиплый, будто с простуды. Птица не птица — пес его разберет.

— Не сходить ли нам на Глухое озеро? Все-таки любопытно, — сказал Рувим, когда дед ушел, попив чаю с баранками.

— Тут что-то есть, — ответил я.

Мы вышли на следующий день. Я взял двустволку.

На Глухое озеро мы шли впервые и потому прихватили с собой провожатым деда. Он сначала отказывался, ссылаясь на свои «десять процентов», потом согласился, но попросил, чтобы ему за это в колхозе выписали два трудодня. Председатель колхоза, комсомолец Леня Рыжов, рассмеялся:

— Там видно будет! Ежели ты у баб этой экспедицией дурь из головы выбьешь, тогда выпишу. А пока шагай!

И дед, благословясь, зашагал. В дороге он о черте рассказывал неохотно, больше помалкивал.

— А он ест что-нибудь, черт? — спрашивал Рувим.

— Надо полагать, рыбкой помаленьку питается, по земле лазит, ягоды жрет, — говорил дед. — Ему тоже промышлять чем-нибудь надо, даром что нечистая сила.

— А он черный?

— Поглядишь — увидишь, — отвечал загадочно дед. — Каким прикинется, таким себя и покажет.



Весь день мы шли сосновыми лесами. Шли без дорог, перебирались через сухие болота — мшары, где нога тонула по колено в сухих коричневых мхах, слушали тонкое посвистывание птиц.

Жара густо настаивалась в хвое. Кричали медведки. На сухих полянах из-под ног дождем сыпались кузнечики. Устало никла трава, пахло горячей сосновой корой и сухой земляникой. В небе над верхушками сосен неподвижно висели ястребы.

Жара измучила нас. Лес был накален, сух, и казалось, что он тихо тлеет от солнечного зноя. Даже как будто попахивало гарью. Мы не курили — боялись, что от первой же спички лес вспыхнет и затрещит, как сухой можжевельник, и белый дым лениво поползет к желтому солнцу.

Мы отдыхали в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным, прелым запахом травы и корней. Мы долго лежали на привалах и слушали, как шумят океанским прибоем вершины сосен, — высоко над головой дул медленный летний ветер. Он был, должно быть, очень горяч.

Только к закату мы вышли на берег озера. Безмолвная ночь осторожно надвигалась на леса глухой синевой. Едва заметно, будто капли се-

ребряной воды, блестели первые звезды. Утки с тяжелым свистом летели на ночлег. Озеро, замкнутое поясом непроходимых зарослей, поблескивало внизу. По черной воде расплывались широкие круги — играла на закате рыба. Ночь начиналась над лесным краем, долгие сумерки густели в чащах, и только костер трещал и разгорался, нарушая лесную тишину.

Дед сидел у костра.

— Ну, где же твой черт, Митрий? — спросил я.

— Тама… — Дед неопределенно махнул рукой в заросли осинника. — Куда рвешься? Утром искать его будем. Нынче дело ночное, темное, погодить надо.

На рассвете я проснулся. С сосен капал теплый туман. Дед сидел у костра и торопливо крестился. Мокрая его борода мелко дрожала.

— Ты чего, дед? — спросил я.

— Доходишься с вами до погибели! — пробормотал дед. — Слышь, кричит, анафема! Слышь? Буди всех!

Я прислушался. Спросонок ударила в озере рыба, потом пронесся пронзительный и яростный крик.

«Уэк! — кричал кто-то. — Уэк! Уэк!»

В темноте началась возня. Что-то живое тяжело

забилось в воде, и снова злой голос прокричал с торжеством: «Уэк! Уэк!»

— Спаси, владычица Троеручица! — бормотал, запинаясь, дед. — Слышь, как зубами клацает? Дернуло меня с вами сюды переться, старого дурака!

С озера долетали странное щелканье и деревянный стук, будто там дрались палками мальчишки.

Я растолкал Рувима. Он проснулся и сказал испуганно:

— Надо ловить!

Я взял ружье.

— Ну, — сказал дед, — действуйте, как желаете. Я знать ничего не знаю! Еще за вас отвечать доведется. Ну вас к лешему!

Дед от страха совсем ошалел.

— Иди, стреляй, — бормотал он сердито. — Начальство тоже за это по головке не побалует. Нешто можно в черта стрелять? Ишь чего выдумали!

«Уэк!» — отчаянно крикнул черт.

Дед натянул на голову армяк и замолк.

Мы поползли к берегу озера. Туман шуршал в траве. Над водой неторопливо подымалось огромное белое солнце.

Я раздвинул кусты волчьей ягоды на берегу, вгляделся в озеро и медленно потянул ружье:

— Странно… Что за птица, никак не пойму.

Мы осторожно поднялись. На черной воде плавала громадная птица. Оперение ее переливалось лимонным и розовым цветом. Головы не было видно — она вся, по длинную шею, была под водой.

Мы оцепенели. Птица вытащила из воды маленькую головку, величиной с яйцо, заросшую курчавым пухом. К голове был как будто приклеен громадный клюв с кожаным красным мешком.

— Пеликан! — тихо сказал Рувим. — Это кудрявый пеликан. Я таких знаю.

«Уэк!» — предостерегающе крикнул пеликан и посмотрел на нас красным глазом.

Из его клюва торчал хвост толстого окуня. Пеликан тряс шеей, чтобы протолкнуть окуня в желудок.

Тогда я вспомнил о газете — в ней была завернута копченая колбаса. Я бросился к костру, вытряхнул из рюкзака колбасу, расправил засаленную газету и прочел объявление, набранное крупным шрифтом:

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ ЗВЕРИНЦА ПО УЗКОКОЛЕЙНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

СБЕЖАЛА АФРИКАНСКАЯ ПТИЦА ПЕЛИКАН. ПРИМЕТЫ: ПЕРО РОЗОВОЕ И ЖЕЛТОЕ, БОЛЬШОЙ КЛЮВ С МЕШКОМ ДЛЯ РЫБЫ, НА ГОЛОВЕ ПУХ, ПТИЦА СТАРАЯ, ОЧЕНЬ ЗЛАЯ, НЕ ЛЮБИТ И БЬЕТ ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ ТРОГАЕТ РЕДКО, О НАХОДКЕ СООБЩИТЬ В ЗВЕРИНЕЦ ЗА ПРИЛИЧНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

— Ну, — сказал Рувим, — что будем делать? Стрелять жалко, а осенью он подохнет от холода.

— Дед сообщит в зверинец, — ответил я. — И, кстати, получит благодарность.



Мы пошли за дедом. Дед долго не мог понять, в чем дело. Он молчал, моргал глазами и все скреб худую грудь. Потом, когда понял, пошел с опаской на берег смотреть черта.

— Вот он, твой леший, — сказал Рувим. — Гляди!

— И-и-и, милай!.. — Дед захихикал. — Да разве я что говорю? Ясное дело — не черт. Пущай жи-

вет на воле, рыбку полавливает. А вам спасибо. Ослобонили народ от страха. Теперь девки сюда понапрут за ягодами — только держись! Шалая птица, сроду такой не видал.

Днем мы наловили рыбы и снесли ее к костру. Пеликан поспешно вылез на берег и приковылял к нашему привалу. Он посмотрел на деда прищуренным глазом, как будто что-то стараясь припомнить. Дед задрожал. Но тут пеликан увидел рыбу, разинул клюв, щелкнул им с деревянным стуком, крикнул «уэк!» и начал отчаянно бить крыльями и притопывать утиной лапой. Со стороны было похоже, будто пеликан качает тяжелый насос.

От костра полетели угли и искры.

— Чего это он? — испуганно спросил дед. — Чумовой, что ли?

— Рыбы просит, — объяснил Рувим.

Мы дали пеликану рыбу. Он проглотил ее, но все же ухитрился ущипнуть меня в спину и зашипеть.

Потом он снова начал накачивать крыльями воздух, приседать и топать ногой — клянчить рыбу.

— Пошел, пошел! — ворчал на него дед. — Ишь размахался!

Весь день пеликан бродил вокруг нас, шипел и кричал, но в руки не давался.

К вечеру мы ушли. Пеликан влез на кочку, бил нам вслед крыльями и сердито кричал: «Уэк, уэк!» Вероятно, он был недоволен, что мы бросаем его на озере, и требовал, чтобы мы вернулись.

Через два дня дед поехал в город, нашел на базарной площади зверинец и рассказал о найденном пеликане. Из города приехал рябой человек и забрал пеликана.

Дед получил от зверинца сорок рублей и купил на них новые штаны.

— Порты у меня — первый сорт! — говорил он и оттягивал штанину. — Об моих портах разговор идет до самой Рязани. Сказывают, даже в газетах печатали про эту дуроломную птицу. Вот она какая, жизнь наша, милок!

Заячьи лапы

К ветеринару в наше село пришел с Урженского озера Ваня Малявин и принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами…

— Ты что, одурел? — крикнул ветеринар. — Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!

— А вы не лайтесь, это заяц особенный, — хриплым шепотом сказал Ваня. — Его дед прислал, велел лечить.

— От чего лечить-то?

— Лапы у него пожженные.

Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед:

— Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком — деду будет закуска.

Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.

— Ты чего, малый? — спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела к ветеринару

свою единственную козу. — Чего вы, сердешные, вдвоем слезы льете? Ай случилось что?

— Пожженный он, дедушкин заяц, — сказал тихо Ваня. — На лесном пожаре лапы себе пожег, бегать не может. Вот-вот, гляди, умреть.

— Не умреть, милый, — прошамкала Анисья. — Скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несет его в город к Карлу Петровичу.

Ваня вытер слезы и пошел лесами домой, на Урженское озеро. Он не шел, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошел стороной, на север, около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах.

Заяц стонал.

Ваня нашел по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.

— Ты чего, серый? — тихо спросил Ваня. — Ты бы поел.

Заяц молчал.

— Ты бы поел, — повторил Ваня, и голос его задрожал. — Может, пить хочешь?

Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза.

Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес — надо было поскорее дать зайцу напиться из озера.

Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы плотных белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень.



Наутро дед надел чистые онучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади.

Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал.

Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар.

На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчичьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился.

— Не то лошадь, не то невеста — шут их разберет! — сказал он и сплюнул.

Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:

— Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш, специалист по детским болезням, уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?

Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.

— Это мне нравится! — сказал аптекарь. — Интересные пациенты завелись в нашем городе! Это мне замечательно нравится!

Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным.

— Почтовая улица, три! — вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растре-

панную толстую книгу. — Три!

Дед с Ваней добрели до Почтовой улицы как раз вовремя — из-за Оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии исподтишка, но стремительно и сильно били в луга; далеко за Полянами уже горел стог сена, зажженный ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность: каждая капля оставляла в пыли маленький кратер.

Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда.

Через минуту Карл Петрович уже сердился.

— Я не ветеринар, — сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. — Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.

— Что ребенок, что заяц — все одно, — упрямо пробормотал дед. — Все одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь — бросить!

Еще через минуту Карл Петрович, старик с седыми взъерошенными бровями, волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.

Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.

Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на третий день к Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.

Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо:

«ЗАЯЦ НЕ ПРОДАЖНЫЙ, ЖИВАЯ ДУША, ПУСТЬ ЖИВЕТ НА ВОЛЕ. ПРИ СЕМ ОСТАЮСЬ ЛАРИОН МАЛЯВИН».

Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как

крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь.

Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар — от него окна в избе сразу запотели и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, лязгал зубами и отскакивал — воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.

Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце.

В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал.

Дед пошел дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать.

Дед понял, что начался лесной пожар и огонь

идет прямо на него. Ветер перешел в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь шел со скоростью тридцать километров в час.

Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени.

Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели.

Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.

Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то шибко!»

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру — заяц и дед, — оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.



— Да, — сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной, — да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек.

— Чем же ты провинился?

— А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь!

Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное.

Тогда я понял все.

Кот-ворюга

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось наконец установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.

Это был кот, потерявший всякую совесть, кот — бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Он их не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей.

Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота.

Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с оку-

нями.

Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; на нем было десять жирных окуней, пойманных на Прорве.

Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.



Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу.

Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу; она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл.

Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу.

Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях. Чтобы пройти к берегам озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью.

Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых выходках рыжего кота.

Но наконец кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать.

Но кот не выходил. Он противно выл, выл непрерывно и без всякого утомления.

Прошел час, два, три… Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота.

Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через лаз в подполье.

Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье — кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу.

Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза.

Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как сле-

дует.

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

— Что же нам с ним делать?

— Выдрать! — сказал я.

— Не поможет, — сказал Ленька, — у него с детства характер такой.

Кот ждал, зажмурив глаза.

Тогда Рувим неожиданно сказал:

— Надо его накормить как следует!

Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами.

После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было означать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке.

Потом кот повернулся на спину, поймал свой

хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать.

На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок.

Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу.

Кот, дрожа от негодования, подкрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол.

Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух, прозванный Горлачом.

Кот несся за ним на трех лапах, а четвертой, передней, лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри у него от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу.

После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел.



С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.

Кот ходил по дому и саду как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти.

Резиновая лодка

Мы купили для рыбной ловли надувную резиновую лодку.

Купили мы ее еще зимой в Москве и с тех пор не знали покоя. Больше всех волновался Рувим. Ему казалось, что за всю его жизнь еще не было такой затяжной и скучной весны, что снег нарочно тает очень медленно и что лето будет холодным и ненастным.

Рувим хватался за голову и жаловался на дурные сны. То ему снилось, что большая щука таскает его вместе с резиновой лодкой по озеру и лодка ныряет в воду и вылетает обратно с оглушительным бульканьем, то снился пронзительный разбойничий свист — это из лодки, распоротой корягой, стремительно выходил воздух, — и Рувим, спасаясь, суетливо плыл к берегу и держал в зубах коробку с папиросами.

Страхи прошли только летом, когда мы привезли лодку в деревню и испытали ее на мелком месте около Чертова моста.

Десятки мальчишек плавали около лодки, свистели, хохотали и ныряли, чтобы рассмотреть

лодку снизу. Лодка спокойно покачивалась, серая и толстая, похожая на черепаху.

Белый мохнатый щенок с черными ушами — Мурзик — лаял на нее с берега и рыл задними лапами песок.

Это значило, что Мурзик разлаялся не меньше чем на час.

Коровы на лугу подняли головы и все, как по команде, перестали жевать.

Бабы шли через Чертов мост с кошелками. Они увидели резиновую лодку, завизжали и заругались на нас:

— Ишь, шалые, что придумали! Народ зря мутитя!

После испытания дед Десять процентов щупал лодку корявыми пальцами, нюхал ее, ковырял, хлопал по надутым бортам и сказал с уважением:

— Воздуходувная вещь!

После этих слов лодка была признана всем населением деревни, а рыбаки нам даже завидовали.

Но страхи не прошли. У лодки появился новый враг — Мурзик.

Мурзик был недогадлив, и потому с ним всегда случались несчастья: то его жалила оса — и он валялся с визгом по земле и мял траву, то ему

отдавливали лапу, то он, воруя мед, измазывал им мохнатую морду до самых ушей. К морде прилипали листья и куриный пух, и нашему мальчику приходилось отмывать Мурзика теплой водой. Но больше всего Мурзик изводил нас лаем и попытками сгрызть все, что ему попадалось под руку.

Лаял он преимущественно на непонятные вещи: на рыжего кота, на самовар, примус и на ходики.

Кот сидел на окне, тщательно мылся и делал вид, что не слышит назойливого лая. Только одно ухо у него странно дрожало от ненависти и презрения к Мурзику. Иногда кот взглядывал на щенка скучающими наглыми глазами, как бы говорил Мурзику:

«Отвяжись, а то так тебя двину...»

Тогда Мурзик отскакивал и уже не лаял, а визжал, закрыв глаза.

Кот поворачивался к Мурзику спиной и громко зевал. Всем своим видом он хотел унизить этого дурака. Но Мурзик не унимался.

Грыз Мурзик молча и долго. Изгрызенные и замусоленные вещи он всегда сносил в чулан, где мы их и находили. Так он сгрыз книжку стихов, подтяжки Рувима и замечательный поплавок

из иглы дикобраза — я купил его по случаю за три рубля.

Наконец Мурзик добрался до резиновой лодки.

Он долго пытался ухватить ее за борт, но лодка была очень туго надута, и зубы скользили. Ухватить было не за что.

Тогда Мурзик полез в лодку и нашел там единственную вещь, которую можно было сжевать, — резиновую пробку. Ею был заткнут клапан, выпускающий воздух.

Мы в это время пили в саду чай и не подозревали ничего плохого.

Мурзик лег, зажал пробку между лапами и заворчал — пробка ему начинала нравиться.

Он грыз ее долго. Резина не поддавалась. Только через час он ее разгрыз, и тогда случилась совершенно страшная и невероятная вещь: густая струя воздуха с ревом вырвалась из клапана, как вода из пожарного шланга, ударила в морду, подняла на Мурзике шерсть и подбросила его в воздух.

Мурзик чихнул, взвизгнул и полетел в заросли крапивы, а лодка еще долго свистела, рычала, и бока ее тряслись и худели на глазах.

Куры раскудахтались по всем соседским дворам, а рыжий кот промчался тяжелым галопом

через сад и прыгнул на березу. Оттуда он долго смотрел, как булькала странная лодка, выплевывая толчками последний воздух.



После этого случая Мурзика наказали. Рувим нашлепал его и привязал к забору.

Мурзик извинялся. Завидев кого-нибудь из нас, он начинал подметать хвостом пыль около забо-

ра и виновато поглядывать в глаза. Но мы были непреклонны — хулиганская выходка требовала наказания.

Мы скоро ушли за двадцать километров, на Глухое озеро, но Мурзика не взяли. Когда мы уходили, он долго визжал и плакал на своей веревке около забора. Нашему мальчику было жаль Мурзика, но он крепился.

На Глухом озере мы пробыли четыре дня.

На третий день ночью я проснулся оттого, что кто-то горячим и шершавым языком вылизывал мои щеки.

Я поднял голову и при свете костра увидел мохнатую, мокрую от слез Мурзикину морду.

Он визжал от радости, но не забывал извиняться: все время подметал хвостом сухую хвою по земле. На шее его болтался обрывок разгрызенной веревки. Он дрожал, в шерсть его набился мусор, глаза покраснели от усталости и слез.

Я разбудил всех. Мальчик засмеялся, потом заплакал и опять засмеялся. Мурзик подполз к Рувиму и лизнул его в пятку — в последний раз попросил прощения. Тогда Рувим раскупорил банку тушеной говядины — мы звали ее «смакатурой» — и накормил Мурзика. Мурзик сглотал мясо в несколько секунд.

Потом он лег рядом с мальчиком, засунул морду к нему под мышку, вздохнул и засвистел носом.

Мальчик укрыл Мурзика своим пальто. Во сне Мурзик тяжело вздыхал от усталости и потрясения.

Я думал о том, как, должно быть, страшно было такому маленькому песику бежать одному через ночные леса, вынюхивая наши следы, сбиваться с пути, скулить, поджав лапу, слушать плач совы, треск веток и непонятный шум травы и, наконец, мчаться опрометью, прижав уши, когда где-то, на самом краю земли, слышался дрожащий вой волка.

Я понимал испуг и усталость Мурзика. Мне самому приходилось ночевать в лесу без товарищей, и я никогда не забуду первую свою ночь на Безымянном озере.

Был сентябрь. Ветер сбрасывал с берез мокрые и пахучие листья. Я сидел у костра, и мне казалось, что кто-то стоит за спиной и тяжело смотрит в затылок. Потом в глубине зарослей я услышал явственный треск человеческих шагов по валежнику.

Я встал и, повинуясь необъяснимому и внезапному страху, залил костер, хотя и знал, что на десятки километров вокруг не было ни души. Я

был совсем один в ночных лесах.

Я просидел до рассвета у потухшего костра. В тумане, в осенней сырости над черной водой, поднялась кровавая луна, и свет ее казался мне зловещим и мертвым…

Утром мы взяли Мурзика с собой в резиновую лодку. Он сидел тихо, расставив лапы, искоса посматривая на клапан, вилял самым кончиком хвоста, но на всякий случай тихо ворчал. Он боялся, что клапан опять выкинет с ним какую-нибудь зверскую штуку.

После этого случая Мурзик быстро привык к лодке и всегда спал в ней.

Однажды рыжий кот залез в лодку и тоже решил там поспать. Мурзик храбро бросился на кота. Кот словчился, ударил Мурзика лапой по ушам и со страшным шипом, будто кто-нибудь плеснул воду на раскаленную сковородку с салом, вылетел из лодки и больше к ней не подходил, хотя ему иногда и очень хотелось поспать в ней. Кот только смотрел на лодку и Мурзика из зарослей лопухов зелеными завистливыми глазами.

Лодка дожила до конца лета. Она не лопнула и ни разу не напоролась на корягу. Рувим торжествовал.

Барсучий нос

Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули.

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки и голубая вода казалась черной, как деготь. Там мы ловили разноцветных окуней, вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами.

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далекие облака и синий густой воздух.

По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды.

У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы отгонять волков, — они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоил дым костра и веселые человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но

однажды вечером в траве, у костра, начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей. Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый, вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах.

С нами пришел на озеро мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночевки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он все замечал и рассказывал. Он был выдумщик, этот мальчик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины и переправлялись при свете ночной, небывалой радуги. Мы делали вид, что верили ему.

Все, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.

Мальчик первый услышал фырканье зверя и

зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, — кто знает, что это мог быть за зверь!

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с черными пронзительными глазками. Наконец показалась полосатая шкурка. Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется, но я опоздал: барсук прыгнул к сковороде и сунул в нее нос…



Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли.

На озере и в лесу началось смятение: без времени заорали испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука.

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой

обожженный нос.

Я не поверил. Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли в сухих болотах — мшарах, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться.

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук. Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом.

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожженный нос. Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами.

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь.

С тех пор озеро — оно называлось раньше

Безымянным — мы прозвали Озером Глупого Барсука.

А через год я встретил на берегах этого озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники.

С тех пор я его больше не видел.

Сивый мерин

На закате колхозных лошадей гнали через брод в луга, в ночное. В лугах они неторопливо паслись, а поздней ночью подходили к огороженным теплым стогам и спали около них стоя, всхрапывая и потряхивая ушами. Лошади просыпались от каждого шороха, от крика перепела, от гудка буксирного парохода, тащившего по Оке баржи. Пароходы всегда гудели в одном и том же месте, около переката, где был виден белый сигнальный огонь. До огня было не меньше пяти километров, но казалось, что он горит совсем недалеко, за соседними ивами.

Каждый раз, когда мы проходили мимо согнанных в ночное лошадей, Рувим спрашивал меня, о чем думают лошади ночью.

Мне казалось, что лошади ни о чем не думают. Они слишком устали за день, им было не до размышлений. Они жевали мокрую от росы траву и вдыхали, раздув ноздри, свежие и заманчивые запахи ночи. С берега Прорвы доносился тонкий запах отцветающего шиповника и листьев ивы. Из лугов за Новоселковским бродом тянуло

ромашкой и медуницей, ее запах был похож на сладкий запах пыли. Из лощин пахло укропом, из озер — глубокой водой, а из деревни изредка доносился запах только что испеченного черного хлеба. Тогда лошади подымали головы и радостно ржали.

Однажды мы вышли на рыбную ловлю в два часа ночи. В лугах было сумрачно от звездного света. На востоке уже занималась, синея, заря.

Мы шли и говорили о том, что самое безмолвное время суток на земле всегда бывает перед рассветом. Даже в больших городах в это пустынное время иногда становится тихо, как в поле.

По дороге на озеро стояло несколько ив. Под ивами спал старый мерин. Когда мы проходили мимо него, он проснулся, со свистом махнул тощим хвостом, подумал и побрел следом за нами.

Всегда бывает немного жутко, когда ночью лошадь увяжется за тобой и не отстает ни на шаг. Как ни оглянешься, она все идет, покачивая головой и перебирая тонкими ногами. Однажды днем в лугах ко мне вот так же пристала ласточка. Она кружилась около меня, задевала за плечо, кричала жалобно и настойчиво, будто я у нее отнял птенца и она просила отдать его обратно. Она летела за мной, не отставая, два часа, и в конце

концов мне стало не по себе. Я не мог догадаться, что ей нужно. Я рассказал об этом знакомому деду Митрию, и он посмеялся надо мной.

— Эх ты, безглазый! — сказал он. — Да ты глядел или нет, чего она делала, эта ласточка? Видать, что нет, а еще очки в кармане носишь. Дай покурить, тогда я тебе в точности все объясню.

Я дал ему покурить, и он открыл мне простую истину: когда человек идет по некошеному лугу, он спугивает сотни кузнечиков и жуков, и ласточке незачем выискивать их в густой траве — она летает около человека, ловит их на лету и кормится без всякой заботы.

Но старый мерин нас не испугал, хотя и шел сзади так близко, что иногда слегка толкал меня мордой в спину. Старого мерина мы знали давно, и ничего таинственного в том, что он увязался за нами, не было — попросту ему было скучно стоять одному всю ночь под ивой и прислушиваться, не ржет ли где-нибудь его приятель, гнедой одноглазый конь.

На озере, пока мы разводили костер, старый мерин подошел к воде, долго ее нюхал, но пить не захотел. Потом он осторожно пошел в воду.

— Куда, дьявол! — в один голос закричали мы оба, боясь, что мерин распугает рыбу.



Мерин покорно вышел на берег, остановился у костра и долго смотрел, помахивая головой, как мы кипятили в котелке чай, потом тяжело вздохнул, будто сказал: «Эх вы, ничего-то вы не понимаете!» Мы дали ему корку хлеба. Он осторожно взял ее теплыми мягкими губами, сжевал, двигая челюстями из стороны в сторону, как теркой, и снова уставился на костер — задумался.

— Все-таки, — сказал Рувим, закуривая, — он,

наверное, о чем-нибудь думает.

Мне казалось, что если мерин о чем-нибудь и думает, то главным образом о людской неблагодарности и бестолковости. Что он слышал за всю свою жизнь? Одни только несправедливые окрики: «Куда, дьявол!», «Заелся на хозяйских хлебах!», «Овса ему захотелось — подумаешь, какой барин!» Стоило ему оглянуться, как его хлестали вожжой по потному боку и раздавался все один и тот же угрожающий крик: «Но-о, оглядывайся у меня!» Даже пугаться ему запрещалось — тотчас возница начинал накручивать вожжами над головой и кричать тонким злорадным голосом: «Боишься-и, черт!» Хомут всегда застегивали, упираясь в него грязным сапогом, дергая голову, и тем же сапогом толкали мерина в брюхо, чтобы он не надувал его, когда затягивали подпругу.

Благодарности не было. А он всю жизнь таскал, хрипя и надсаживаясь, по пескам, по грязи, по липкой глине, по косогорам, по «битым» дорогам и кривым проселкам скрипучие, плохо смазанные телеги с сеном, картошкой, яблоками и капустой. Иногда в песках он останавливался отдохнуть. Бока его тяжело ходили, от гривы подымался пар, но возницы со свистом вытягивали его ременным кнутом по дрожащим ногам

и хрипло, с наигранной яростью кричали: «Но-о, идол, нет на тебя гибели!» И мерин, рванувшись, тащил телегу дальше.

Начало быстро светать. Звезды бледнели, как бы уходили от земли в глубину неба. Неожиданно над головой, на огромной высоте, загорелось нежным розовым светом одинокое маленькое облачко, похожее на пух. Там, в вышине, уже светило летнее солнце, а на земле еще стоял сумрак и роса капала с громким шорохом с белых зонтичных цветов дягиля в темную, настоявшуюся за ночь воду.

Мерин опустил голову к самой земле, из его глаза выкатилась одинокая старческая слеза, и он уснул.

Утром, когда роса горела от солнца на травах так сильно, что весь воздух вокруг был полон влажного блеска, мерин проснулся и громко заржал. Из лугов шел к нему с недоуздком, перекинутым через плечо, колхозный конюх Петя, недавно вернувшийся из армии белобрысый красноармеец. Мерин пошел к нему навстречу, потерся головой о плечо Пети и безропотно дал надеть на себя недоуздок.

Петя привязал его к изгороди около стога, а сам подошел к нам — покурить и побеседовать

насчет клева.

— Вот вы, я гляжу, — сказал он, сплевывая, — ловите на шелковый шнур, а наши огольцы плетут лески из конского волоса. У мерина весь хвост повыдергали, черти! Скоро обмахнуться от овода — и то будет нечем.

— Старик свое отработал, — сказал я.

— Известно, отработал, — согласился Петя. — Старик хороший, душевный.

Он помолчал. Мерин оглянулся на него и тихо заржал.

— Подождешь, — сказал Петя. — Работы с тебя никто не спрашивает, — ты и молчи.

— А что он, болен, что ли? — спросил Рувим.

— Да нет, не болен, — ответил Петя, — а только тяги у него уже не хватает. Отслужил. Председатель колхоза — ну, знаете, этот сухорукий, — хотел было отправить его к коновалу, снять шкуру, а я воспрепятствовал. Не то чтобы жалко, а так... Все-таки снисхождение к животному надо иметь. Для людей — дома отдыха, а для него что? Шиш! Так, значит, и выходит — всю жизнь запаривайся, а как пришла старость — так под нож. «Нет, — говорю, — Леонид Кузьмич, не имеешь ты в себе окончательной правды. Ты, — говорю, — за копейкой гонись, но и совесть свою береги. Отдай

мне этого мерина, пусть он у меня поживет на вольном воздухе, попасется, — ему и жить-то осталось всего ничего!» Поглядите-ка, даже морда у него и та кругом седая.

— Ну и что же председатель? — спросил Рувим.

— Согласился. «Только, — говорит, — я тебе для него не дам ни полпуда овса. Это уже, — говорит, — похоже на расточительство». — «А мне, — говорю, — на ваш овес как будто наплевать, я своим кормить буду». Так вот и живет у меня. Моя старуха, мамаша, сначала скрипела: зачем, мол, этого дармоеда на дворе держим, а сейчас обвыкла, даже разговаривает с ним, с мерином, когда меня нет. Поговорить, знаете, не с кем, вот она ему и рассказывает всякую всячину. А он и рад слушать… Но-о, дьявол! — неожиданно закричал Петя.

Мерин, ощерив желтые зубы, тихонько грыз изгородь около стога. Петя поднялся.

— Два дня в лугах погулял, теперь пусть постоит во дворе, в сарае, — сказал он и протянул мне черную от дегтя руку. — Прощайте.

Он увел мерина. Тихое утро было полно такой свежести, будто воздух промыли родниковой водой. В озере стояли и отражались в воде белые, как первый снег, цветы водокраса. Под ними мед-

ленно проплывали маленькие, вычеканенные из золота лини. И где-то уже далеко, в цветущих густых лугах, добродушно заржал мерин.

Жильцы старого дома

Неприятности начались в конце лета, когда в старом деревенском доме появилась кривоногая такса Фунтик. Фунтика привезли из Москвы.

Однажды черный кот Степан сидел, как всегда, на крыльце и не торопясь умывался. Он лизал растопыренную пятерню, потом, зажмурившись, тер изо всей силы обслюненной лапой у себя за ухом.

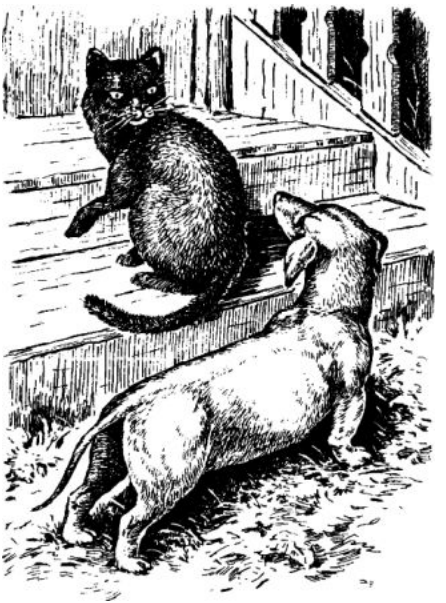
Внезапно Степан почувствовал чей-то пристальный взгляд. Он оглянулся и замер с лапой, заложенной за ухо. Глаза Степана побелели от злости.

Маленький рыжий пес стоял рядом. Одно ухо у него завернулось. Дрожа от любопытства, пес тянул мокрым носом к Степану — хотел обнюхать этого загадочного зверя.

— Ах, вот как!

Степан изловчился и ударил Фунтика по вывернутому уху. Война была объявлена, и с тех пор жизнь для Степана потеряла всякую прелесть. Нечего было и думать о том, чтобы лениво тереться мордой о косяки рассохшихся дверей или валять-

ся на солнце около колодца. Ходить приходилось с опаской, на цыпочках, почаще оглядываться и всегда выбирать впереди какое-нибудь дерево или забор, чтобы вовремя удрать от Фунтика.



У Степана, как у всех котов, были твердые привычки. Он любил по утрам обходить заросший чистотелом сад, гонять со старых яблонь воро-

бьев, ловить желтых бабочек-капустниц и точить когти на сгнившей скамье. Но теперь приходилось обходить сад не по земле, а по высокому забору, неизвестно зачем обтянутому заржавленной колючей проволокой и к тому же такому узкому, что временами Степан долго думал, куда поставить лапу.

Вообще в жизни Степана бывали разные неприятности. Однажды он украл и съел плотицу вместе с застрявшим в жабрах рыболовным крючком — и все сошло. Степан даже не заболел. Но никогда еще ему не приходилось унижаться из-за кривоногой собаки, похожей на крысу. Усы у Степана вздрагивали от негодования.

Один только раз за все лето Степан, сидя на крыше, усмехнулся.

Во дворе, среди курчавой гусиной травы, стояла деревянная миска с мутной водой — в нее бросали корки черного хлеба для кур. Фунтик подошел к миске и осторожно вытащил из воды большую размокшую корку.

Сварливый голенастый петух, прозванный Горлачом, пристально посмотрел на Фунтика одним глазом. Потом повернул голову и посмотрел другим глазом. Петух никак не мог поверить, что здесь, рядом, среди бела дня происходит грабеж.

Подумав, петух поднял лапу, глаза его налились кровью, внутри у него что-то заклокотало, как будто в петухе гремел далекий гром. Степан знал, что это значит, — петух разъярился.

Стремительно и страшно, топая мозолистыми лапами, петух помчался на Фунтика и клюнул его в спину. Раздался короткий и крепкий стук. Фунтик выпустил хлеб, прижал уши и с отчаянным воплем бросился в отдушину под дом.

Петух победно захлопал крыльями, поднял густую пыль, клюнул размокшую корку и с отвращением отшвырнул ее в сторону — должно быть, от корки пахло псиной.

Фунтик просидел под домом несколько часов и только к вечеру вылез и сторонкой, обходя петуха, пробрался в комнаты. Морда у него была в пыльной паутине, к усам прилипли высохшие пауки.

Но гораздо страшнее петуха была худая черная курица. На шее у нее была накинута шаль из пестрого пуха, и вся она походила на цыганку-гадалку. Купили эту курицу напрасно. Недаром старухи по деревне говорили, что куры делаются черными от злости.

Курица эта летала, как ворон, дралась и по нескольку часов могла стоять на крыше и без

перерыва кудахтать. Сбить ее с крыши, даже кирпичом, не было возможности. Когда мы возвращались из лугов или из леса, то издалека была уже видна эта курица — она стояла на печной трубе и казалась вырезанной из жести.

Нам вспоминались средневековые харчевни — о них мы читали в романах Вальтера Скотта. На крышах этих харчевен торчали на шесте жестяные петухи или куры, заменявшие вывеску.

Так же, как в средневековой харчевне, нас встречали дома бревенчатые темные стены, закопченные желтым мхом, пылающие поленья в печке и запах тмина. Почему-то старый дом пропах тмином и древесной трухой.

Романы Вальтера Скотта мы читали в пасмурные дни, когда мирно шумел по крышам и в саду теплый дождь. От ударов маленьких дождевых капель вздрагивали мокрые листья на деревьях, вода лилась тонкой и прозрачной струей из водосточной трубы, а под трубой сидела в луже маленькая зеленая лягушка. Вода лилась ей прямо на голову, но лягушка не двигалась и только моргала.

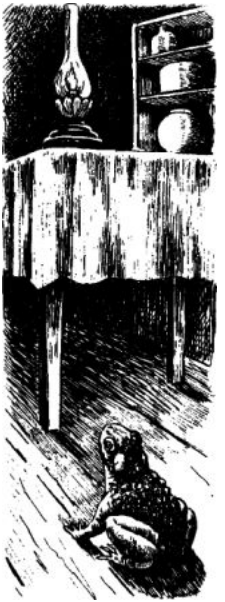
Когда не было дождя, лягушка сидела в лужице под рукомойником. Раз в минуту ей капала на голову из рукомойника холодная вода. Из тех же

романов Вальтера Скотта мы знали, что в средние века самой страшной пыткой было вот такое медленное капанье на голову ледяной воды, и удивлялись лягушке.

Иногда по вечерам лягушка приходила в дом. Она прыгала через порог и часами могла сидеть и смотреть на огонь керосиновой лампы.

Трудно было понять, чем этот огонь так привлекал лягушку. Но потом мы догадались, что лягушка приходила смотреть на яркий огонь так же, как дети собираются вокруг неубранного чайного стола послушать перед сном загадочную сказку. Огонь то вспыхивал, то ослабевал от сгоравших в ламповом стекле зеленых мошек. Должно быть, он казался лягушке большим алмазом, где, если долго всматриваться, можно увидеть в каждой грани целые страны с золотыми водопадами и радужными звездами.

Лягушка так увлекалась этой сказкой, что ее приходилось щекотать палкой, чтобы она очнулась и ушла к себе, под сгнившее крыльцо, — на его ступеньках ухитрялись расцветать одуванчики.



Во время дождя кое-где протекала крыша. Мы ставили на пол медные тазы. Ночью вода особенно звонко и мерно капала в них, и часто этот звон совпадал с громким тиканьем ходиков.

Ходики были очень веселые — разрисованные пышными розанами и трилистниками. Фунтик каждый раз, когда проходил мимо них, тихо ворчал — должно быть, для того, чтобы ходики знали, что в доме есть собака, были настороже

и не позволяли себе никаких вольностей — не убегали вперед на три часа в сутки или не останавливались без всякой причины.

В доме жило много старых вещей. Когда-то давно эти вещи были нужны обитателям дома, а сейчас они пылились и рассыхались на чердаке и в них копошились мыши.

Изредка мы устраивали на чердаке раскопки и среди разбитых оконных рам и занавесей из мохнатой паутины находили то ящик от масляных красок, покрытый разноцветными окаменелыми каплями, то сломанный перламутровый веер, то медную кофейную мельницу времен Севастопольской обороны, то огромную тяжелую книгу с гравюрами из древней истории, то, наконец, пачку переводных картинок.

Мы переводили их. Из-под размокшей бумажной пленки появлялись яркие и липкие виды Везувия, итальянские ослики, убранные гирляндами роз, девочки в соломенных шляпах с голубыми атласными лентами, играющие в серсо, и фрегаты, окруженные пухлыми мячиками порохового дыма.

Как-то на чердаке мы нашли деревянную черную шкатулку. На крышке ее медными буквами была выложена английская надпись: «Эдинбург.

Шотландия. Делал мастер Гальвестон».

Шкатулку принесли в комнаты, осторожно вытерли с нее пыль и открыли крышку. Внутри были медные валики с тонкими стальными шипами. Около каждого валика сидела на бронзовом рычажке медная стрекоза, бабочка или жук.

Это была музыкальная шкатулка. Мы завели ее, но она не играла. Напрасно мы нажимали на спинки жуков, мух и стрекоз — шкатулка была испорчена.

За вечерним чаем мы заговорили о таинственном мастере Гальвестоне. Все сошлись на том, что это был веселый пожилой шотландец в клетчатом жилете и кожаном фартуке. Во время работы, обтачивая в тисках медные валики, он, наверное, насвистывал песенку о почтальоне, чей рог поет в туманных долинах, и девушке, собирающей хворост в горах. Как все хорошие мастера, он разговаривал с теми вещами, которые делал, и рассказывал им их будущую жизнь. Но, конечно, он никак не мог догадаться, что черная шкатулка попадет из-под бледного шотландского неба в пустынные леса за Окой, в деревню, где только одни петухи поют, как в Шотландии, а все остальное совсем не похоже на эту далекую северную страну.

С тех пор мастер Гальвестон стал как бы одним из невидимых обитателей старого деревенского дома. Порой нам даже казалось, что мы слышим его хриплый кашель, когда он невзначай поперхнется дымом из трубки. А когда мы что-нибудь сколачивали — стол в беседке или новую скворечню — и спорили, как держать фуганок или пригнать одну к другой две доски, то часто ссылались на мастера Гальвестона, будто он стоял рядом и, прищурив серый глаз, насмешливо смотрел на нашу возню. И все мы напевали последнюю любимую песенку Гальвестона:

Прощай, земля, — корабль уходит в море!

Прощай навек, мой теплый отчий дом...

Шкатулку поставили на стол, рядом с цветком герани, и в конце концов забыли о ней.

Но как-то осенью, поздней ночью, в старом и гулком доме раздался стеклянный переливающийся звон, будто кто-то ударял маленькими молоточками по колокольчикам, и из этого чудесного звона возникла и полилась мелодия:

В милые горы

Ты возвратишься...

Это неожиданно проснулась после многолетнего сна и заиграла шкатулка. В первую минуту мы испугались, и даже Фунтик вскочил и слушал, осторожно подымая то одно, то другое ухо. Очевидно, в шкатулке соскочила какая-нибудь пружина.

Шкатулка играла долго, то останавливаясь, то снова наполняя дом таинственным звоном, и даже ходики притихли от изумления.

Шкатулка проиграла все свои песни, замолчала, и как мы ни бились, но заставить ее снова заиграть мы не смогли.

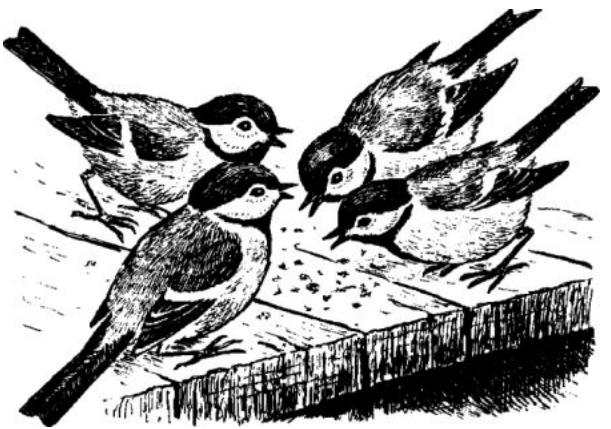
Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там одна в пустых нетопленых комнатах, и, может быть, в непроглядные и тихие ночи она снова просыпается и играет, но ее уже некому слушать, кроме пугливых мышей.

Мы долго потом насвистывали мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нам ее не просвистел пожилой скворец — он жил в скворечне около калитки. С тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с восхищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских детей. И почему-то радовались, что будущей зимой где-то страшно далеко, в густых

лесах на берегу Нигера, скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Европы.

Каждое утро на дощатый стол в саду мы насыпали крошки и крупу. Десятки шустрых синиц слетались на стол и склевывали крошки. У синиц были белые пушистые щеки, и когда синицы все сразу клевали, то было похоже, будто по столу торопливо бьют десятки белых молоточков.

Синицы ссорились, трещали, и этот треск, напоминавший быстрые удары ногтем по стакану, сливался в веселую мелодию. Казалось, что в саду играл на старом столе живой щебечущий музыкальный ящик.



Среди жильцов старого дома, кроме Фунтика, кота Степана, петуха, ходиков, музыкального ящика, мастера Гальвестона и скворца, были еще прирученная дикая утка, еж, страдавший бессонницей, колокольчик с надписью «Дар Валдая» и барометр, всегда показывавший «великую сушь». О них придется рассказать в другой раз — сейчас уже поздно.

Но если после этого маленького рассказа вам приснится ночная веселая игра музыкального ящика, звон дождевых капель, падающих в медный таз, ворчанье Фунтика, недовольного ходиками, и кашель добряка Гальвестона — я буду думать, что рассказал вам все это не напрасно.

Собрание чудес

У каждого, даже самого серьезного человека, не говоря, конечно, о мальчишках, есть своя тайная и немного смешная мечта. Была такая мечта и у меня — обязательно попасть на Боровое озеро.

От деревни, где я жил в то лето, до озера было всего двадцать километров. Все отговаривали меня идти — и дорога скучная, и озеро как озеро, кругом только лес, сухие болота да брусника. Картина известная!

— Чего ты туда рвешься, на этот озер! — сердился огородный сторож Семен. — Чего не видал? Народ какой пошел суетливый, хваткий, Господи! Все ему, видишь ли, надо своей рукой цопнуть, своим глазом высмотреть! А что ты там высмотришь? Один водоем. И больше ничего!

— А ты там был?

— А на кой он мне сдался, этот озер! У меня других дел нету, что ли? Вот они где сидят, все мои дела! — Семен постучал кулаком по своей коричневой шее. — На загорбке!

Но я все-таки пошел на озеро. Со мной увязались двое деревенских мальчишек — Ленька и

Ваня. Не успели мы выйти за околицу, как тотчас обнаружилась полная враждебность характеров Леньки и Вани. Ленька все, что видел вокруг, прикидывал на рубли.

— Вот, глядите, — говорил он мне своим гугнивым голосом, — гусак идет. На сколько он, по-вашему, тянет?

— Откуда я знаю!

— Рублей на сто, пожалуй, тянет, — мечтательно говорил Ваня и тут же спрашивал: — А вот сосна на сколько потянет? Рублей на двести? Или на все триста?

— Счетовод! — презрительно заметил Ваня и шмыгнул носом. — У самого мозги на гривенник тянут, а ко всему приценивается. Глаза бы мои на него не глядели!

После этого Ленька и Ваня остановились, и я услышал хорошо знакомый разговор — предвестник драки. Он состоял, как это и принято, только из одних вопросов и восклицаний.

— Это чьи ж мозги на гривенник тянут? Мои?

— Небось не мои!

— Ты смотри!

— Сам смотри!

— Не хватай! Не для тебя картуз шили!

— Ох, как бы я тебя не толканул по-своему!

— А ты не пугай! В нос мне не тычь!

Схватка была короткая, но решительная. Ленька подобрал картуз, сплюнул и пошел, обиженный, обратно в деревню.

Я начал стыдить Ваню.

— Это, конечно! — сказал, смутившись, Ваня. — Я сгоряча подрался. С ним все дерутся, с Ленькой. Скучный он какой-то! Ему дай волю, он на все цены навешает, как в сельпо. На каждый колосок. И непременно сведет весь лес, порубит на дрова. А я больше всего на свете боюсь, когда сводят лес. Страсть как боюсь!

— Это почему же?

— От лесов кислород. Порубят леса, кислород сделается жидкий, проховый. И земле уже будет не под силу его притягивать, подле себя держать. Улетит он во-он куда! — Ваня показал на свежее утреннее небо. — Нечем будет человеку дышать. Лесничий мне объяснял.

Мы поднялись по изволоку и вошли в дубовый перелесок. Тотчас нас начали заедать рыжие муравьи. Они облепили ноги и сыпались с веток за шиворот. Десятки муравьиных дорог, посыпанных песком, тянулись между дубами и можжевельником. Иногда такая дорога проходила, как по туннелю, под узловатыми корнями дуба

и снова поднималась на поверхность. Муравьиное движение на этих дорогах шло непрерывно. В одну сторону муравьи бежали порожняком, а возвращались с товаром — белыми зернышками, сухими лапками жуков, мертвыми осами и мохнатой гусеницей.

— Суета! — сказал Ваня. — Как в Москве. В этот лес один старик приезжает из Москвы за муравьиными яйцами. Каждый год. Мешками увозит. Это самый птичий корм. И рыбу на них хорошо ловить. Крючочек нужно махонький-махонький!

За дубовым перелеском, на опушке, у края сыпучей песчаной дороги стоял покосившийся крест с черной жестяной иконкой. По кресту ползли красные, в белую крапинку божьи коровки. Тихий ветер дул в лицо с овсяных полей. Овсы шелестели, гнулись, по ним бежала седая волна.

За овсяным полем мы прошли через деревню Полково. Я давно заметил, что почти все полковские крестьяне отличаются от окрестных жителей высоким ростом.

— Статный народ в Полкове! — говорили с завистью наши, заборьевские. — Гренадеры! Барабанщики!



В Полкове мы зашли передохнуть в избу к Василию Лялину, высокому красивому старику с пегой бородой. Седые клочья торчали в беспорядке в его черных косматых волосах.

Когда мы входили в избу к Лялину, он закричал:

— Голову пригните! Голову! Все у меня лоб о притолоку расшибают! Больно в Полкове высокий народ, а недогадливы — избы ставят по

низкому росту.

За разговором с Лялиным я наконец узнал, почему полковские крестьяне такие высокие.

— История! — сказал Лялин. — Ты думаешь, мы зря вымахали в вышину? Зря даже кузька-жучок не живет. Тоже имеет свое значение.

Ваня засмеялся.

— Ты смеяться погоди! — строго заметил Лялин. — Еще мало учен, чтобы смеяться. Ты слушай. Был в России такой дуроломный царь — император Павел? Или не был?

— Был, — сказал Ваня. — Мы учили.

— Был, да сплыл. А делов понаделал таких, что до сих пор нам икается. Свирепый был господин. Солдат на параде не в ту сторону глаза скосил — он сейчас распаляется и начинает греметь: «В Сибирь! На каторгу! Триста шомполов!» Вот какой был царь! Ну и вышло такое дело — полк гренадерский ему не угодил. Он и кричит: «Шагом марш в указанном направлении за тыщу верст. Походом! А через тыщу верст стать на вечный постой!» И показывает перстом направление. Ну, полк, конечно, поворотился и зашагал. Что сделаешь! Шагали-шагали три месяца и дошагали до этого места. Кругом лес непролазный. Одна дебрь. Остановились, стали избы рубить, глину мять,

класть печи, рыть колодцы. Построили деревню и прозвали ее Полково, в знак того, что целый полк ее строил и в ней обитал. Потом, конечно, пришло освобождение, да солдаты прижились к этой местности и, почитай, все здесь и остались. Местность, сам видишь, благодатная. Были те солдаты — гренадеры и великаны — наши пращуры. От них и наш рост. Ежели не веришь, езжай в город, в музей. Там тебе бумаги покажут. В них все прописано. И ты подумай: еще бы две версты им прошагать — и вышли бы к реке, там и стали постоем. Так нет, не посмели ослушаться приказа, точно остановились. Народ до сих пор удивляется. «Чего это вы, — говорят, — полковские, вперлись в лес? Не было вам, что ли, места у реки? Страшенные, — говорят, — верзилы, а догадки в башке, видать, маловато». Ну, объяснишь им, как было дело, тогда соглашаются. «Против приказа, — говорят, — не попрешь! Это факт!»

Василий Лялин вызвался проводить нас до леса, показать тропу на Боровое озеро. Сначала мы прошли через песчаное поле, заросшее бессмертником и полынью. Потом выбежали нам навстречу заросли молоденьких сосен. Сосновый лес встретил нас после горячих полей тишиной и прохладой. Высоко в солнечных косых лучах

перепархивали, будто загораясь, синие сойки. Чистые лужи стояли на заросшей дороге, и через синие эти лужи проплывали облака. Запахло земляникой, нагретыми пнями. Заблестели на листьях орешника капли не то росы, не то вчерашнего дождя. Гулко падали шишки.

— Великий лес! — вздохнул Лялин. — Ветер задует, и загудят эти сосны, как колокола.

Потом сосны сменились березами, и за ними блеснула вода.

— Боровое? — спросил я.

— Нет. До Борового еще шагать и шагать. Это Ларино озерцо. Пойдем, поглядишь на воду, засмотришься.

Вода в Ларином озерце была глубокая и прозрачная до самого дна. Только у берега она чуть вздрагивала — там из-под мхов вливался в озерцо родник. На дне лежало несколько темных больших стволов. Они поблескивали слабым и темным огнем, когда до них добиралось солнце.

— Черный дуб, — сказал Лялин. — Мореный, вековой. Мы один вытащили, только работать с ним трудно. Пилы ломает. Но уж ежели сделаешь вещь — скалку или, скажем, коромысло, — так навек! Тяжелое дерево, в воде тонет.

Солнце блестело в темной воде. Под ней лежали

древние дубы, будто отлитые из черной стали. А над водой, отражаясь в ней желтыми и лиловыми лепестками, летали бабочки.

Лялин вывел нас на глухую дорогу.

— Прямо ступайте, — показал он, — покамест не упретесь в мшары, в сухое болото. А по мшарам пойдет тропка до самого озера. Только сторожко идите — там колков много.

Он попрощался и ушел. Мы пошли с Ваней по лесной дороге. Лес делался все выше, таинственней и темнее. На соснах застыла ручьями золотая смола.

Сначала были еще видны колеи, давным-давно поросшие травой, но потом они исчезли, и розовый вереск закрыл всю дорогу сухим веселым ковром.

Дорога привела нас к невысокому обрыву. Под ним расстилались мшары — густое и прогретое до корней березовое и осиновое мелколесье. Деревца тянулись из глубокого мха. По мху то тут, то там были разбросаны мелкие желтые цветы и валялись сухие ветки с белыми лишаями.

Через мшары вела узкая тропа. Она обходила высокие кочки. В конце тропы черной синевой светилась вода — Боровое озеро.

Мы осторожно пошли по мшарам. Из-под мха

торчали острые, как копья, колки — остатки березовых и осиновых стволов. Начались заросли брусники. Одна щечка у каждой ягоды — та, что повернута к югу, — была совсем красная, а другая только начинала розоветь. Тяжелый глухарь выскочил из-за кочки и побежал в мелколесье, ломая сушняк.

Мы вышли к озеру. Трава выше пояса стояла по его берегам. Вода поплескивала в корнях старых деревьев. Из-под корней выскочил дикий утенок и с отчаянным писком побежал по воде.

Вода в Боровом была черная, чистая. Острова белых лилий цвели на воде и приторно пахли. Ударила рыба, и лилии закачались.

— Вот благодать! — сказал Ваня. — Давайте будем здесь жить, пока не кончатся наши сухари.

Я согласился.

Мы пробыли на озере два дня. Мы видели закаты и сумерки и путаницу растений, возникавшую перед нами в свете костра. Мы слышали крики диких гусей и звуки ночного дождя. Он шел недолго, около часа, и тихо позванивал по озеру, будто протягивал между черным небом и водой тонкие, как паутина, дрожащие струнки.



Вот и все, что я хотел рассказать. Но с тех пор я никому не поверю, что есть на нашей земле места скучные и не дающие никакой пищи ни глазу, ни слуху, ни воображению, ни человеческой мысли.

Только так, исследуя какой-нибудь клочок нашей страны, можно понять, как она хороша и как мы сердцем привязаны к каждой ее тропинке, роднику и даже к робкому попискиванию лесной пичуги.

Подарок

Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная, лето гораздо короче зимы, а осень проходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за окном золотой птицы.

Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет пятнадцати. Он часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки с Урженского озера и приносил то кошелку белых грибов, то решето брусники, а то прибегал просто так — погостить у нас, послушать разговоры и почитать журнал «Вокруг света».

Толстые переплетенные тома этого журнала валялись в чулане вместе с веслами, фонарями и старым ульем. Улей был выкрашен белой клеевой краской. Она отваливалась от сухого дерева большими кусками, и дерево под краской пахло старым воском.

Однажды Ваня принес маленькую, выкопанную с корнем березу. Корни он обложил сырым мхом и обернул рогожей.

— Это вам, — сказал он и покраснел. — Подарок. Посадите ее в деревянную кадку и поставьте в теплой комнате — она всю зиму будет зеленая.

— Зачем ты ее выкопал, чудак? — спросил Рувим.

— Вы же говорили, что вам жалко лета, — ответил Ваня. — Дед меня и надоумил. «Сбегай, — говорит, — на прошлогоднюю гарь, там березы-двухлетки растут, как трава, — проходу от них нет никакого. Выкопай и отнеси Руму Исаевичу (так дед называл Рувима). Он о лете беспокоится, вот и будет ему на студеную зиму летняя память. Оно, конечно, весело поглядеть на зеленый лист, когда на дворе снег валит, как из мешка».

— Я не только о лете, я еще больше об осени жалею, — сказал Рувим и потрогал тоненькие листья березы.

Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху землей и пересадили в него маленькую березу. Ящик поставили в самой светлой и теплой комнате у окна, и через день опустившиеся ветки березы поднялись, вся она повеселела, и даже листья у нее уже шумели, когда сквозной ветер врывался в комнату и в сердцах хлопал дверью.

В саду уже поселилась осень, но листья нашей

березы оставались зелеными и живыми. Горели темным пурпуром клены, порозовел бересклет, ссыхался дикий виноград на беседке. Даже кое-где на березах в саду появились желтые пряди, как первая седина у нестарого человека. Но береза в комнате, казалось, все молодела. Мы не замечали у нее никаких признаков увядания.

Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на стекла в доме, и они запотели; посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звезды как будто обрадовались первому морозу и сверкали гораздо ярче, чем в теплые летние ночи. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука — пастуший рожок пел в темноте. За окнами едва заметно голубела заря.

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой — сон сразу прошел. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой, похожей на дым пожара. Мгла эта светлела, делалась все прозрачнее, сквозь нее уже были видны далекие и нежные страны золотых и розовых облаков.

Ветра не было, но в саду все падали и падали листья.

Березы за одну ночь пожелтели до самых

верхушек, и листья осыпались с них частым и печальным дождем.

Я вернулся в комнаты; в них было тепло, сонно. В бледном свете зари стояла в кадке маленькая береза, и я вдруг заметил — почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу.

Комнатная теплота не спасла березу. Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих взрослых подруг, осыпавшихся в холодных лесах, рощах, на сырых по осени просторных полянах.

Ваня Малявин, Рувим и все мы были огорчены. Мы уже свыклись с мыслью, что в зимние снежные дни береза будет зеленеть в комнатах, освещенных белым солнцем и багровым пламенем веселых печей. Последняя память о лете исчезла.



Знакомый лесничий усмехнулся, когда мы рассказали ему о своей попытке спасти зеленую листву на березе.

— Это закон, — сказал он. — Закон природы. Если бы деревья не сбрасывали на зиму листья, они бы погибали от многих вещей — и от тяжести снега, который нарастал бы на листьях и ломал самые толстые ветки, и от того, что к осени в листве накапливалось бы много вредных

для дерева солей, и, наконец, от того, что листья продолжали бы и среди зимы испарять влагу, а мерзлая земля не давала бы ее корням дерева, и дерево неизбежно погибло бы от зимней засухи, от жажды.

А дед Митрий, по прозвищу Десять процентов, узнав об этой маленькой истории с березой, истолковал ее по-своему.

— Ты, милок, — сказал он Рувиму, — поживи с мое, тогда и спорь. А то ты со мной все споришь, а видать, что умом пораскинуть у тебя еще времени не хватило. Нам, старым, думать способнее, у нас заботы мало — вот и прикидываем, что к чему на земле притесано и какое имеет объяснение. Взять, скажем, эту березу. Ты мне про лесничего не говори, я наперед знаю все, что он скажет. Лесничий — мужик хитрый, он когда в Москве жил, так, говорят, на электрическом току пищу себе готовил. Может это быть или нет?

— Может, — ответил Рувим.

— «Может, может»! — передразнил его дед. — А ты этот электрический ток видал? Как же ты его видал, когда он видимости не имеет, вроде как воздух? Ты про березу слушай. Промеж людей есть дружба или нет? То-то, что есть. А люди заносятся. Думают, что дружба им одним дадена,

чванятся перед всяким живым существом. А дружба — она, брат, кругом, куда ни глянешь. Уж что говорить — корова с коровой дружит и зяблик с зябликом. Убей журавля, так журавлиха исчахнет, исплачется, места себе не найдет. И у всякой травы и дерева тоже, надо быть, дружба иногда бывает. Как же твоей березе не облететь, когда все ее товарки в лесах облетели? Какими глазами она весной на них взглянет, что скажет, когда они зимой исстрадались, а она грелась у печки, в тепле, да в сытости, да в чистоте? Тоже совесть надо иметь.

— Ну, это ты, дед, загнул, — сказал Рувим. — С тобой не столкуешься.

Дед захихикал.

— Ослаб? — спросил он язвительно. — Сдаешься? Ты со мной не заводись — бесполезное дело.

Дед ушел, постукивая палкой, очень довольный, уверенный в том, что победил в этом споре нас всех и заодно с нами и лесничего.

Березу мы высадили в сад, под забор, а ее желтые листья собрали и засушили между страниц «Вокруг света».

Этим и кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете.

Прощание с летом

Несколько дней лил не переставая холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. В четыре часа дня мы уже зажигали керосиновые лампы, и невольно казалось, что лето окончилось навсегда и земля уходит все дальше и дальше в глухие туманы, в неуютную темень и стужу.

Был конец ноября — самое грустное время в деревне. Кот спал весь день, свернувшись на старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная дождевая вода хлестала в окно.

Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. Последние птицы спрятались под стрехи, и вот уже больше недели как никто нас не навещал — ни дед Митрий, ни Ваня Малявин, ни лесничий.

Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел огонь, багровые отсветы дрожали на бревенчатых стенах и на старой гравюре — портрете художника Брюллова. Откинувшись в кресле, он смотрел на нас и, казалось, так же, как и мы, отложив раскрытую книгу, думал о прочитанном и прислушивался к гудению дождя

по тесовой крыше.

Ярко горели лампы, и все пел и пел свою нехитрую песню медный самовар-инвалид. Как только его вносили в комнату, в ней сразу становилось уютно — может быть, оттого, что стекла запотевали и не было видно одинокой березовой ветки, день и ночь стучавшей в окно.

После чая мы садились у печки и читали. В такие вечера приятнее всего было читать очень длинные и трогательные романы Чарлза Диккенса или перелистывать тяжелые тома журналов за старые годы.

По ночам часто плакал во сне Фунтик — маленькая рыжая такса. Приходилось вставать и закутывать его теплой шерстяной тряпкой. Фунтик благодарил сквозь сон, осторожно лизал руку и, вздохнув, засыпал.

Темнота шумела за стенами плеском дождя и ударами ветра, и страшно было подумать о тех, кого, может быть, застигла эта ненастная ночь в непроглядных лесах.

Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и наконец понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная ти-

шина. Такую тишину называют «мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад, было только слышно, как посапывает во сне кот.

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату.

Я встал и подошел к окну — за стеклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг.

Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа.

Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа.

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась, с нее посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с елки. Потом снова все стихло.

Проснулся Рувим. Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал:

— Первый снег очень к лицу земле.

Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.

А утром все хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на крыльце, черные стебли крапивы, торчавшие из-под снега.

К чаю приплелся в гости дед Митрий и поздравил с первопутком.

— Вот и умылась земля, — сказал он, — снеговой водой из серебряного корыта.

— Откуда ты это взял, Митрий, такие слова? — спросил Рувим.

— А нешто не верно? — усмехнулся дед. — Моя мать-покойница рассказывала, что в стародавние годы красавицы умывались первым снегом из серебряного кувшина и потому никогда не вяла их красота. Было это еще до царя Петра, милок, когда по здешним лесам разбойники купцов разоряли.

Трудно было оставаться дома в первый зимний день.

Мы ушли на лесные озера. Дед проводил нас до опушки. Ему тоже хотелось побывать на озерах, но «не пущала ломота в костях».

В лесах было торжественно, светло и тихо.

День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, смерзались и скатывались на землю как бисер.

Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места.

Стаи снегирей сидели, нахохлившись, на засыпанных снегом рябинах.



Мы сорвали несколько гроздей схваченной морозом красной рябины — это была последняя память о лете, об осени.

На маленьком озере — оно называлось Лариным прудом — всегда плавало много ряски. Сейчас вода в озере была очень черная, прозрачная — вся ряска к зиме опустилась на дно.

У берегов наросла стеклянная полоска льда. Лед был такой прозрачный, что даже вблизи его было трудно заметить. Я увидел в воде у берега стаю плотиц и бросил в них маленький камень. Камень упал на лед, лед зазвенел, плотицы, блеснув чешуей, метнулись в глубину, а на льду остался белый зернистый след от удара. Только поэтому мы и догадались, что у берега уже образовался слой льда. Мы обламывали руками отдельные льдинки. Они хрустели и оставляли на пальцах смешанный запах снега и брусники.

Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы. Небо над головой было очень светлое, белое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. Оттуда шли медленные снеговые тучи.

В лесах становилось все сумрачнее, все тише, и наконец пошел густой снег. Он таял в черной воде озера, щекотал лицо, порошил серым дымом леса.

Зима начала хозяйничать над землей, но мы знали, что под рыхлым снегом, если разгрести его

руками, еще можно найти свежие лесные цветы, знали, что в печах всегда будет трещать огонь, что с нами остались зимовать синицы, и зима показалась нам такой же прекрасной, как лето.



Дремучий медведь



Сын бабки Анисьи, по прозвищу Петя-большой, погиб на войне, и остался жить ее внучек, сын Пети-большого — Петя-маленький. Мать Пети-маленького, Даша, умерла, когда ему было два года, и Петя-маленький ее совсем позабыл, какая она была.

— Все тормошила тебя, веселила, — говорила бабка Анисья, — да, видишь ты, застудилась осе-

нью и померла. А ты весь в нее. Только она была говорливая, а ты у меня дичок. Все хоронишься по углам да думаешь. А думать тебе рано. Успеешь за жизнь, надумаешься. Жизнь долгая, в ней вон сколько дней! Не сочтешь.

Когда Петя-маленький подрос, бабка Анисья определила его пасти колхозных телят.

Телята были как на подбор, лопоухие и ласковые. Только один, по имени Мужичок, бил Петю шерстистым лбом в бок и брыкался. Петя гонял телят пастись на Высокую реку. Старый пастух Семен-чаевник подарил Пете рожок, и Петя трубил в него над рекой, скликал телят.

А река была такая, что лучше, должно быть, не найдешь. Берега крутые, все в колосистых травах, в деревах. И каких только дерев не было на Высокой реке! В иных местах даже в полдень было пасмурно от старых ив. Они окунали в воду могучие свои ветви, и ивовый лист — узкий, серебряный, вроде рыбки уклейки, — дрожал в бегучей воде.

А выйдешь из-под черных ив — и ударит с полян таким светом, что зажмуришь глаза. Рощицы молодых осин толпятся на берегу, и все осиновые листья дружно блестят на солнце.

Ежевика на крутоярах так крепко хватала Петю

за ноги, что он долго возился и сопел от натуги, прежде чем мог отцепить колючие плети. Но никогда он, осердясь, не хлестал ежевику палкой и не топтал ногами, как все остальные мальчишки.

На Высокой реке жили бобры. Бабка Анисья и Семен-чаевник строго наказывали Пете не подходить к бобровым норам. Потому что бобр — зверь строгий, самостоятельный, мальчишек деревенских вовсе не боится и может так хватить за ногу, что на всю жизнь останешься хромой.

Но Пете была большая охота поглядеть на бобров, и потому он ближе к вечеру, когда бобры вылезали из нор, старался сидеть тихонько, чтобы не напугать сторожкого зверя.

Однажды Петя видел, как бобр вылез из воды, сел на берегу и начал тереть себе лапами грудь, драть ее изо всех сил, сушить. Петя засмеялся, а бобр оглянулся на него, зашипел и нырнул в воду.

А другой раз вдруг с грохотом и плеском обрушилась в реку старая ольха. Тотчас под водой молниями полетели испуганные плотицы.

Петя подбежал к ольхе и увидел, что она прогрызена бобровыми зубами до сердцевины, а в воде на ветках ольхи сидят эти самые бобры и

жуют ольховую кору.

Тогда Семен-чаевник рассказал Пете, что бобр сперва подтачивает дерево, потом нажимает на него плечом, валит и питается этим деревом месяц или два, глядя по тому, толстое оно или не такое уж и толстое, как хотелось бобру.

В густоте листьев над Высокой рекой всегда было беспокойно. Там хлопотали разные птицы, а дятел, похожий на сельского почтаря Ивана Афанасьевича — такой же остроносый и с шустрым черным глазом, — колотил и колотил со всего размаха клювом по сухому осокорю. Ударит, отдернет голову, поглядит, примерится, зажмурит глаза и опять так ударит, что осокорь от макушки до корней загудит. Петя все удивлялся — до чего крепкая голова у дятла! Весь день стучит по дереву, не теряет веселости.

«Может, голова у него и не болит, — думал Петя, — но звон в ней стоит наверняка здоровый. Шутка ли — бить и бить целый день! Как только черепушка выдерживает!»

Пониже птиц, над всякими цветами — и зонтичными, и крестоцветными, и самыми невидимыми, как, скажем, подорожник, — летали ворсистые шмели, пчелы и стрекозы.

Шмели не обращали на Петю внимания, а стре-

козы останавливались в воздухе и, постреливая крылышками, рассматривали его выпуклыми глазищами, будто подумывали: ударить ли его в лоб со всего налета, пугнуть с берега или не стоит с таким маленьким связываться?

И в воде тоже было хорошо. Смотришь на нее с берега — и так и подмывает нырнуть и поглядеть: что там, в глубокой глубине, где качаются водоросли? И все чудится, что ползет по дну рак величиной с бабкино корыто, растопырил клешни, а рыбы пятятся от него, помахивая хвостами.

Постепенно и звери и птицы привыкли к Пете и, бывало, прислушивались по утрам: когда же запоет за кустами его рожок? Сначала они привыкли к Пете, а потом полюбили его за то, что не озоровал: не сбивал палками гнезд, не связывал стрекоз за лапки ниткой, не швырял в бобров камнями и не травил рыбу едучей известью.

Деревья тихонько шумели навстречу Пете — помнили, что ни разу он не сгибал, как другие мальчишки, тоненьких осинок до самой земли, чтобы полюбоваться, как они, выпрямившись, долго дрожат от боли и шелестят-жалуются листьями.

Стоило Пете раздвинуть ветки и выйти на берег, как сразу начинали щелкать птицы, шмели

взлетали и покрикивали: «С дороги! С дороги!», рыбы выскакивали из воды, чтобы похвастаться перед Петей пестрой чешуей, дятел так ударял по осокорю, что бобры поджимали хвосты и семенили в норы. Выше всех птиц взлетал жаворонок и пускал такую трель, что синий колокольчик только качал головой.

— Вот и я! — говорил Петя, стаскивая старую шапчонку и вытирая ею мокрые от росы щеки. — Здравствуйте!

— Дра! Дра! — отвечала за всех ворона. Никак она не могла выучить до конца такое простое человеческое слово, как «здравствуйте». На это не хватало у нее вороньей памяти.

Все звери и птицы знали, что живет за рекой, в большом лесу, старый медведь и прозвище у того медведя — Дремучий. Его шкура и вправду была похожа на дремучий лес: вся в желтых сосновых иглах, в давленой бруснике и смоле. И хотя старый это был медведь и кое-где даже седой, но глаза у него горели, как светляки, — зеленые, будто у молодого.

Звери часто видели, как медведь осторожно пробирался к реке, высовывал из травы морду и принюхивался к телятам, что паслись на другом берегу. Один раз он даже попробовал лапой воду

и заворчал. Вода была холодная — со дна реки били ледяные ключи, — и медведь раздумал переплывать реку. Не хотелось ему мочить шкуру.



Когда приходил медведь, птицы начинали отчаянно хлопать крыльями, деревья — шуметь, рыбы — бить хвостами по воде, шмели — грозно гудеть, даже лягушки подымали такой крик, что медведь зажимал уши лапами и мотал головой.

А Петя удивлялся и смотрел на небо: не обкладывает ли его тучами, не к дождю ли раскричались звери? Но солнце спокойно плыло по небу. И только два облачка стояли в вышине, столкнувшись друг с другом на просторной небесной дороге.

С каждым днем медведь сердился все сильнее. Он голодовал, брюхо у него совсем отвисло — одна кожа и шерсть. Лето выпало жаркое, без дождей. Малина в лесу посохла. Муравейник разроешь — так там одна только пыль.

— Беда-а-а! — рычал медведь и выворачивал от злости молодые сосенки и березки. — Пойду задеру телка. А пастушок заступится, я его придушу лапой — и весь разговор!

От телят вкусно пахло парным молоком, и были они совсем рядом — только и дела, что переплыть каких-нибудь сто шагов.

«Неужто не переплыву? — сомневался медведь. — Да нет, пожалуй, переплыву. Мой дед, говорят, Волгу переплывал и то не боялся».

Думал медведь, думал, нюхал воду, скреб в затылке и наконец решился — прыгнул в воду, ахнул и поплыл.

Петя в то время лежал под кустом, а телята — глупые они еще были — подняли головы, наставили уши и смотрят: что это за старый пень

плывет по реке? А у медведя одна морда торчит над водой. И такая корявая эта морда, что с непривычки не то что телок, а даже человек может принять ее за трухлявый пень.

Первой после телят заметила медведя ворона.

— Карраул! — крикнула она так отчаянно, что сразу охрипла. — Звери, воррр!

Всполошились все звери. Петя вскочил, руки у него затряслись, и уронил он свой рожок в траву: посредине реки плыл, загребая когтистыми лапами, старый медведь, отплевывался и рычал. А телята подошли уже к самому крутояру, вытянули шеи и смотрят.

Закричал Петя, заплакал, схватил длинный свой кнут, размахнулся. Кнут щелкнул, будто взорвался ружейный патрон. Да не достал кнут до медведя — ударил по воде. Медведь скосил на Петю глаз и зарычал:

— Погоди, сейчас вылезу на бережок — все кости твои пересчитаю. Что выдумал — старика кнутом бить!

Подплыл медведь к берегу, полез на крутояр к телятам, облизывается. Петя оглянулся, крикнул: «Подсобите!» — и видит: задрожали все осины и ивы и все птицы поднялись к небу. «Неужто все испугались и никто мне теперь не поможет?»

— подумал Петя. А людей, как назло, никого рядом нету.

Но не успел он это подумать, как ежевика вцепилась колючими своими плетями в медвежьи лапы, и сколько медведь ни рвался, она его не пускала. Держит, а сама говорит: «Не-ет, брат, шутишь!»

Старая ива наклонила самую могучую ветку и начала изо всех сил хлестать ею медведя по худым бокам.

— Это что ж такое? — зарычал медведь. — Бунт? Я с тебя все листья сдеру, негодница!

А ива все хлещет его и хлещет. В это время дятел слетел с дерева, сел на медвежью голову, потоптался, примерился и как долбанет медведя по темени! У медведя позеленело в глазах и жар прошел от носа до самого кончика хвоста. Взвыл медведь, испугался насмерть, воет и собственного воя не слышит, слышит один хрип. Что такое? Никак медведь не догадается, что это шмели залезли ему в ноздри, в каждую по три шмеля, и сидят там, щекочут. Чихнул медведь, шмели вылетели, но тут же налетели пчелы и начали язвить медведя в нос. А всякие птицы тучей вьются кругом и выщипывают у него шкуру волосок за волоском. Медведь начал кататься по земле,

отбиваться лапами, закричал истошным голосом и полез обратно в реку.

Ползет, пятится задом, а у берега уже ходит стопудовый окунь, поглядывает на медведя, дожидается. Как только медвежий хвост окунулся в воду, окунь хвать, зацепил его своими ста двадцатью зубами, напружился и потащил медведя в омут.

— Братцы! — заорал медведь, пуская пузыри. — Смилуйтесь! Отпустите! Слово даю… до смерти сюда не приду! И пастуха не обижу!

— Вот хлебнешь бочку воды, тогда не придешь! — прохрипел окунь, не разжимая зубов. — Уж я ли тебе поверю, Михайлыч, старый обманщик!

Только хотел медведь пообещать окуню кувшин липового меда, как самый драчливый ерш на Высокой реке, по имени Шипояд, разогнался, налетел на медведя и засадил ему в бок свой ядовитый и острый шип.

Рванулся медведь, хвост оторвался, остался у окуня в зубах. А медведь нырнул, выплыл и пошел махать саженками к своему берегу.

«Фу, — думает, — дешево я отделался! Только хвост потерял. Хвост старый, облезлый, мне от него никакого толку».



Доплыл до половины реки, радуется, а бобры только этого и ждут.

Как только началась заваруха с медведем, они кинулись к высокой ольхе и тут же начали ее грызть. И так за минуту подгрызли, что держалась эта ольха на одном тонком шпеньке.

Подгрызли ольху, стали на задние лапы и ждут. Медведь плывет, а бобры смотрят — рассчитывают, когда он подплывет под самый под удар

этой высоченной ольхи. У бобров расчет всегда верный, потому что они единственные звери, что умеют строить разные хитрые вещи — плотины, подводные ходы и шалаши.

Как только подплыл медведь к назначенному месту, старый бобр крикнул:

— А ну, нажимай!

Бобры дружно нажали на ольху, шпенек треснул, и ольха загрохотала — обрушилась в реку. Пошла пена, буруны, захлестали волны и водовороты. И так ловко рассчитали бобры, что ольха самой серединой ствола угодила медведю в спину, а ветками прижала его к иловатому дну.

«Ну, теперь крышка!» — подумал медведь. Он рванулся под водой изо всех сил, ободрал бока, замутил всю реку, но все-таки как-то вывернулся и выплыл.

Вылез на свой берег и — где там отряхиваться, некогда! — пустился бежать по песку к своему лесу. А позади крик, улюлюканье. Бобры свищут в два пальца. А ворона так задохнулась от хохота, что один только раз и прокричала: «Дуррак!», а больше уже и кричать не могла.

Осинки мелко тряслись от смеха, а ерш Шипояд разогнался, выскочил из воды и лихо плюнул вслед медведю, да не доплюнул — где там доплю-

нуть при таком отчаянном беге!

Добежал медведь до леса, едва дышит. А тут, как на грех, девушки из Окулова пришли по грибы. Ходили они в лес всегда с пустыми бидонами от молока и палками, чтобы на случай встречи со зверем пугнуть его шумом.

Выскочил медведь на поляну, девушки увидали его — все враз завизжали и так грохнули палками по бидонам, что медведь упал, ткнулся мордой в сухую траву и затих. Девушки, понятно, убежали, только пестрые их юбки метнулись в кустах.

А медведь стонал-стонал, потом съел какой-то гриб, что подвернулся на зуб, отдышался, вытер лапами пот и пополз на брюхе в свое логово. Залег с горя спать на осень и зиму. И зарекся на всю жизнь не выходить больше из дремучего леса. И уснул, хотя и побаливало у него то место, где был оторванный хвост.

Петя посмотрел вслед медведю, посмеялся, потом взглянул на телят. Они мирно жевали траву и то один, то другой чесали копытцем задней ноги у себя за ухом.

Тогда Петя стащил шапку и резко поклонился деревьям, шмелям, реке, рыбам, птицам и бобрам.

— Спасибо вам! — сказал Петя.

Но никто ему не ответил.

Тихо было на реке. Сонно висела листва ив, не трепетали осины, даже не было слышно птичьего щебета.

Петя никому не рассказал, что случилось на Высокой реке, только бабке Анисье: боялся, что не поверят.

А бабка Анисья отложила недовязанную варежку, сдвинула очки в железной оправе на лоб, посмотрела на Петю и сказала:

— Вот уж и вправду говорят люди: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Звери за тебя не зря заступились, Петруша! Так, говоришь, окунь ему хвост начисто оторвал? Вот грех-то какой! Вот грех!

Бабка Анисья сморщилась, засмеялась и уронила варежку вместе с деревянным вязальным крючком.

Теплый хлеб

Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушел дальше, пыля и позванивая удилами, — ушел, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь.

Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном.

Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди — помогал Панкрату чинить плотину.

Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой о калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы, или черствого хлеба, или, случалось даже, сладкую

морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее, общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь — раненый, пострадал от врага.

Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька, по прозвищу Ну тебя. Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!» Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом: «Да ну тебя! Ищи сам!» Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал: «Да ну тебя! Надоела!»

Зима в этот год стояла теплая. В воздухе висел дым. Снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла черная, тихая, и в ней кружились льдинки.

Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб, — хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на два-три дня, а зерно лежит немолотое.

В один из таких теплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной

бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью.

Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу.

— Да ну тебя! Дьявол! — крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам.

Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:

— На вас не напасешься, на христарадников! Вон твой хлеб! Иди, копай его мордой из-под снега! Иди, копай!



И вот после этого злорадного окрика и случились в Бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это или ничего такого и не было.

Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистал пронзительный ветер, вздул

снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца — так уже мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мерзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни. И все выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга.

Филька вскочил наконец в избу, припер дверь, сказал: «Да ну тебя!» — и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь ее рев Филька слышал тонкий и короткий свист — так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьет им себя по бокам.

Метель начала затихать к вечеру, и тогда только смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лед, звезды примерзли к небесному своду, и колючий мороз прошел по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твердому снегу: слышал, как мороз, озоруя, стискивал толстые бревна в стенах, и они трещали и лопались.

Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замерзли колодцы и теперь их ждет неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а

мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна.

Филька тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать из подпола и хорониться под печкой в соломе, где еще оставалось немного тепла. «Да ну вас! Проклятые!» — кричал он на мышей, но мыши все лезли из подпола. Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь тряс-ся и слушал причитания бабки.

— Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, — говорила бабка. — Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. Обегал ее стороной всякий зверь — боялся пустыни.

— Отчего же стрясся тот мороз? — спросил Филька.

— От злобы людской, — ответила бабка. — Шел через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба, а хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только черствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и го-ворит: «Вот тебе! Жуй!» «Мне хлеб с полу поднять невозможно, — говорит солдат. — У меня вместо ноги деревяшка». «А ногу куда девал?» — спраши-

вает мужик. «Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой баталии», — отвечает солдат. «Ничего. Раз дюже голодный — подымешь, — засмеялся мужик. — Тут тебе камердинеров нету». Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит — это не хлеб, а одна зеленая плесень. Один яд! Тогда солдат вышел на двор, свистнул — и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз. И мужик тот помер.

— Отчего же он помер? — хрипло спросил Филька.

— От охлаждения сердца, — ответила бабка, помолчала и добавила: — Знать, и нынче завелся в Бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз.

— Чего ж теперь делать, бабка? — спросил Филька из-под тулупа. — Неужто помирать?

— Зачем помирать? Надеяться надо.

— На что?

— На то, что поправит дурной человек свое злодейство.

— А как его исправить? — спросил, всхлипывая, Филька.

— А об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, ученый. Его спросить надо. Да неужто

в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится.

— Да ну его, Панкрата! — сказал Филька и затих.

Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный. В чистом небе над осокорями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами.

Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель веселых пильщиков пилила под корень березовую рощу за рекой. Казалось, воздух замерз и между землей и луной осталась одна пустота — жгучая и такая ясная, что если бы подняло пылинку на километр от земли, то и ее было бы видно и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда.

Черные ивы около мельничной плотины поседели от стужи. Ветки их поблескивали, как стеклянные. Воздух колол Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шел, загребая снег валенками.



Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу.

— Садись к печке, — сказал он. — Рассказывай, пока не замерз.

Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на

деревню мороз.

— Да-а, — вздохнул Панкрат, — плохо твое дело! Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин!

Филька сопел, вытирал рукавом глаза.

— Ты брось реветь! — строго сказал Панкрат. — Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил — сейчас в рев. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет, и воды нет, и что нам придумать — неизвестно.

— Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? — спросил Филька.

— Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадью — тоже. Будешь ты чистый человек, веселый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно?

— Понятно, — ответил упавшим голосом Филька.

— Ну, вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью.

В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте — подслушивала. Потом она боком, озираясь, подскакала к щели под

дверью. Выскочила наружу, прыгнула на перильца и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая и нарочно летела у самой земли, потому что от деревень и лесов все-таки тянуло теплом и сорока не боялась замерзнуть. Никто ее не видел, только лисица в осиновом яру высунула морду из норы, повела носом, заметила, как темной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почесываясь и соображая: куда ж это в такую страшную ночь подалась сорока?

А Филька в это время сидел на лавке, ерзал, придумывал.

— Ну, — сказал наконец Панкрат, затаптывая махорочную цигарку, — время твое вышло. Выкладывай! Льготного срока не будет.

— Я, дедушка Панкрат, — сказал Филька, — как рассветет, соберу со всей деревни ребят. Возьмем мы ломы, пешни, топоры, будем рубить лед у лотка около мельницы, покамест не дорубимся до воды и не потечет она на колесо. Как пойдет вода, ты пускай мельницу! Провернешь колесо двадцать раз, она разогреется и начнет молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение.

— Ишь ты шустрый какой! — сказал мельник. — Подо льдом, конечно, вода есть. А ежели

лед толщиной в твой рост, что ты будешь делать?

— Да ну его! — сказал Филька. — Пробьем мы, ребята, и такой лед!

— А ежели замерзнете?

— Костры будем жечь.

— А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут: «Да ну его! Сам виноват — пусть сам лед и скалывает»?

— Согласятся! Я их умолю. Наши ребята — хорошие.

— Ну, валяй, собирай ребят. А я со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы да возьмутся за ломы.

В морозные дни солнце восходит багровое, в тяжелом дыму. И в это утро поднялось над Бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов. Трещали костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лед у мельницы. И никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный и теплый ветер. А когда заметили, что переменилась погода, ветки ив уже оттаяли и весело, гулко зашумела за рекой мокрая березовая роща. В воздухе запахло весной,

навозом.

Ветер дул с юга. С каждым часом становилось все теплее. С крыш падали и со звоном разбивались сосульки. Вороны вылезли из-под застрех и снова обсыхали на трубах, толкались, каркали.

Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лед начал оседать, работа у мельницы пошла быстро и показалась первая полынья с темной водой.

Мальчишки стащили треухи и прокричали «ура». Панкрат говорил, что если бы не теплый ветер, то, пожалуй, и не обколоть бы лед ребятам и старикам.

А сорока сидела на раките над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала, но никто, кроме ворон, ее не понял. А сорока рассказывала, что она долетела до теплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудила его, натрещала ему про лютый мороз и упросила его прогнать этот мороз, помочь людям.

Ветер будто бы не осмелился отказать ей, сороке, и задул, понесся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозами. И если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит-журчит теплая вода, моет

корни брусники, ломает лед на реке.

Всем известно, что сорока — самая болтливая птица на свете, и потому вороны ей не поверили — покаркали только между собой, что вот, мол, опять завралась старая.

Так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока или все это она выдумала из хвастовства. Одно только известно, что к вечеру лед треснул, разошелся, ребята и старики нажали — и в мельничный лоток хлынула с шумом вода.

Старое колесо скрипнуло — с него посыпались сосульки — и медленно повернулось. Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, еще быстрее, и вдруг вся старая мельница затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молоть зерно.

Панкрат сыпал зерно, а из-под жернова лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в нее озябшие руки и смеялись.

По всем дворам кололи звонкие березовые дрова. Избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. И все, что было живого в избах, — ребята, кошки, даже мыши, — все это вертелось около хозяек, а хозяйки шлепали ребят по спине белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались.

Ночью по деревне стоял такой запах теплого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже лисицы вылезли из нор, сидели на снегу, дрожали и тихонько скулили, соображая, как бы словчиться стащить у людей хоть кусочек этого чудесного хлеба.

На следующее утро Филька пришел вместе с ребятами к мельнице.

Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи и не давал им ни на минуту перевести дух, и потому по земле неслись вперемежку то холодные тени, то горячие солнечные пятна.

Филька тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николка держал деревянную солонку с крупной желтой солью.

Панкрат вышел на порог, спросил:

— Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги?

— Да нет! — закричали ребята. — Тебе будет особо. А это раненому коню. От Фильки. Помирить мы их хотим.

— Ну что ж, — сказал Панкрат. — Не только человеку извинение требуется. Сейчас я вам коня представлю в натуре.

Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, заржал — учуял

запах свежего хлеба. Филька разломил буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь хлеба не взял, начал мелко перебирать ногами, попятился в сарай. Испугался Фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал. Ребята зашептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал:

— Не пужайся, Мальчик! Филька — не злой человек. Зачем же его обижать? Бери хлеб, мирись!

Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял наконец хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок.

Филька ухмылялся сквозь слезы, а конь жевал хлеб, фыркал. А когда съел весь хлеб, положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия.

Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на раките и сердито трещала: должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой. Но никто ее не слушал и не понимал, и сорока от этого сердилась все больше и трещала как пулемет.



Артельные мужички



Варя проснулась на рассвете, прислушалась. Небо чуть синело за оконцем избы. Во дворе, где росла старая сосна, кто-то пилил: жик-жик, жик-жик! Пилили, видно, опытные люди: пила

ходила звонко, не заедала.

Варя выбежала босиком в маленькие сенцы. Там было прохладно от недавней ночи.

Варя приоткрыла дверь во двор и загляделась. Под сосной с натугой пилили сухую хвою бородатые мужички, каждый ростом с маленькую еловую шишку. Сосновые иглы мужички клали для распилки на козлы, связанные из чисто обструганных щепочек.

Пильщиков было четверо. Все они были в одинаковых коричневых армячках. Только бороды у мужичков отличались. У одного была рыжая, у другого — черная, как воронье перо, у третьего — вроде как пакля, а у четвертого седая.

— Здравствуйте! — тихо сказала Варя. — Вы кто ж такие будете?

Мужички с еловую шишку обернулись, стащили шапки.

— Мы дровоколы из Лесного прикола, — ответили они все разом и поклонились Варе в пояс. — Не бранись, хозяюшка, что на твоем дворе пилим. Подрядились мы со здешней жужелицей заготовить ей на зиму дрова, вот и стараемся.

— Ну что ж, — сказала Варя ласково, — старайтесь, сколько вам требуется. Мне сухой хвои не жалко. А дед Прохор у меня глуховатый и сле-

пенький, он ничего не узнает.

— Вот правильно! — ответил седой мужичок, вытащил из-за пазухи за тесемку высохший гриб пылевик, отсыпал из него в трубку грибного мелкого табачку и закурил. — Ежели тебе, внучка, по хозяйству чего-нибудь требуется, мы мигом сделаем. У нас артель. Берем мы недорого.

— А сколько? — спросила Варя и присела на корточки, чтобы и самой легче было мужичков разглядеть да чтобы и мужичкам не надо было задирать головы, глядя на Варю.

— Это смотря по работе, — охотно ответил рыжий мужичок. — Вот, скажем, требуется тебе забить в бревнах ходы, что прогрызли жуки-дровосеки. И тех жучков наглухо замуровать, чтобы они не точили избу, — это одна цена. Это работа затруднительная.

— А чем затруднительная?

— Как — чем? Все ходы жучиные надо облазить да залепить их замазкой. Бывают такие ходы, что не продерешься. Весь армяк изорвешь, взмокнешь. Шут с ней, с такой работой! За нее надо брать по два ореха на каждого.

— Два не два, а полтора ореха — верная цена! — примирительно заметил седой мужичок. — Мы, внучка, можем, к примеру, залезть в ходики,

почистить всю механику наждаком и протереть тряпицей. За это мы, конечно, берем по соглашению — копеек пять, а то и все шесть.

— Что там ни говори, — рассердился рыжий мужичок, — а нет хуже, как собирать муравьиные яйца. Залезешь в муравейник, елозишь там, труха в нос бьет, а муравьи тебя так и жгут! Так и жгут! Иной как вцепится — не отдерешь!

— А зачем их собирают, муравьиные яйца? — спросила Варя.

— Соловьиная пища. Мы их в город отправляем. На продажу.

— У меня, мужички, — сказала Варя, — работа есть, только не знаю, как вы с ней справитесь. Надо бы собрать паучью паутину, самую крепкую, шелковистую, промыть ее в дождевой воде, высушить на ночном ветру, пока не погасла утренняя звезда, ссучить из той паутины пряжу на медной прялке и сплесть из той пряжи поясок. И запрясть в него золотой волос.

— Какой волос? — удивились мужички.

— Вы покурите, а я вам объясню.

Мужички прислонили звонкие пилы к сосновой шишке, сели на сломанную веточку, как на бревно, вытащили кисеты, трубочки, откашлялись, закурили, приготовились слушать.

И рассказала им Варя, как шла она из соседней деревни домой, несла баранки деду Прохору. И встретились ей в лесу два воробья. Они прыгали по осине, наскакивали друг на друга, да так лихо, что с веток дождем сыпались красные листья. Из норы под осиной высунулась лесная мышь, заругалась на воробьев. «Ах вы, — говорит, — разбойники! Что же это вы раньше времени сухой лист с дерев обиваете! Совести у вас нисколько нету!»

— Это верно! — заметил мужичок с бородой вроде как пакля. — Лесная мышь палого листа не любит.

Как пойдет по лесам листопад, она из норы не выходит. Сидит трясется.

— Это как понимать? — спросил рыжий мужичок. — Чего ты плетешь?

— Мышь-то по земле бегает? Ай нет?

— Ну, бегает.

— А ворон или коршун над лесом кружит и ее караулит. Чтобы схватить и унесть. Караулит ай нет?

— Ну, караулит.



— Вот и соображай. Летом мышь в траве хоронится, ее не видать. А осенью бежит она по сухому листу. Лист трещит, шуршит, шевелится, — ее, эту мышь, издали видно. Уж на что ворона дура — и та ее сразу изловит. Выходит, значит, что мыши для безопасности надо в норе сидеть, пока не присыплет землю снегом. Она тогда под снегом тропки себе прорoет и опять бегает взад-вперед. Никакой глаз ее не приметит.

— То-то! — сказал седой мужичок. — У всякого зверя свое соображение. Так, говоришь, внучка, крепко дрались те воробьи?

— Прямо ужас как дрались! — вздохнула Варя. — Рвут друг у друга из клюва золотой волосок. А я все гляжу. Рвали они его, рвали да и уронили. Упал он на пенек и зазвенел. Схватила я тот волосок, сунула за пазуху — и ну бежать! Ну бежать! Прибегла домой, а дед Прохор и говорит: «Это волосок особенный. За нашими, говорит, пущами да озерами находится, говорит, дальний край. В том краю вот уже второй год зимы, весны и лета не было, а стоит одна осень. Весь год там, говорит, лес стоит облетелый, черный, и что ни день, то льют ненастные дожди. Живет в той стране, говорит, девушка, по имени Маша, с золотыми косами. Заперта она в горнице, и сторожат ее три волка с пугачами и двадцать два барсука с вострыми казацкими пиками. Это, говорит, ее волос попал к тебе в руки. И с тем волосом, ежели вплести его в поясок, можно свершить такие чудеса, что и во сне не приснятся».

Кто-то хихикнул у Вари за спиной. Варя обернулась и увидела старую толстую жужелицу. Она пищала от смеха и вытирала лапкой слезящиеся глаза.

— Ты чего смеешься? — рассердилась Варя. — Ай не веришь?

Жужелица перевела дух, перестала смеяться.

— Уж истинно говорят, что старый дурее, чем малый. Чего только твой дед не выдумывает. Помирать ему время, а у него на уме одно баловство.

— Дед Прохор зря говорить не станет, — ответила Варя. — Ты не вправе на деда ругаться.

— А ты вправе, — зашипела жужелица, — пильщикам моим памороки [1] забивать своими побасками! Ишь расселись, уши развесили! Я им плачу поденно по три ячменных зерна на душу, а они тут разговорами прохлаждаются! Нашлись господа!

— Как — три зерна?! — закричал рыжий мужичок. — Мы рядились за четыре. Это, братцы, обман! На это мы не согласные!

— Не согласные! — закричали все мужички.

— Подумаешь, какие самостоятельные! — пропищала жужелица. — От горшка три вершка, в дождь все четверо под одним грибом прячетесь, а шумите, будто полномерные мужики.

— Ох, старуха! — покачал головой седой мужи-

---

[1] Примечания: 1

Памороки — здесь: морочить голову.

чок. — Небось каждый день молишься, поклоны перед иконой бьешь, а пот с рабочих людей выжимаешь.

Рыжий мужичок сплюнул, сорвал в сердцах шапку, швырнул ее на землю, засучил рукава армячка и подступил к жужелице.

— Уйди, — сказал он. — Покеда я не тряхануп тебя по-своему! Сквалыга!

— Это ты-то? Меня? Жужелицу?

— А то кого же!

— Ты, брат, смотри!

— Ты сама смотри! Уйдешь? Ай нет?

— Ну, ну. Не замахивайся!

Жужелица пискнула от злости и побежала к старому пню — там у нее была нора. На бегу она обернулась, крикнула:

— Я этого вам не забуду! Раскаетесь!

— Сама себе дрова пили за три ячменных зерна. Богомолка!

Седой мужичок только покачал головой.

— Вот мы с жужелицей и разругались. Значит, свободно теперь с тобой можем рядиться, внуча. Рассказывай, в чем твое дело.

— А мне что рассказывать! — заспешила Варя. — Дед Прохор говорит, что крепко голодует народ в той стране.

— Известно! — согласился мужичок с черной бородой. — Как не голодовать! Что от такой осени проку? Все помокло, погнило. А новое не родится.

— Палым листом тоже несладко питаться, — добавил рыжий мужичок.

— Вот беда! — вздохнул мужичок с бородой как пакля. — Пропадают, значит, людишки!

— Ох и пропадают! — вздохнула Варя. — Ох и пропадают, дяденька! Как капустные черви. А все почему? Потому что тамошние мужики вольные да справедливые. Пришел к ним из соседней заморской страны властелин. Рыжий, злой, гугнивый. И глаз у него от винища красный. Пришел со своим поганым войском. И хотел взять тех мужиков под свою руку. А они не поддались. Тогда властелин этот самый осерчал ужасно, разругался, растоптался. «Я, — кричит, — вас уморю!» А в той стране в ту пору гостила осень. С виду она вроде как наша деревенская девушка, и зовут ее Машей. Волосы у нее золотые-золотые, и ходит она в безрукавке на беличьем меху. Время уже шло к зиме, пора было осени уходить в другие страны, пора было уступить место старухе зиме, да не тут-то было! Приказал властелин своей страже схватить Машу, никуда не выпускать из

той страны и запереть ее в крепкой избе на долгие годы. «Пусть, — говорит, — этот строптивый народ поживет у меня без зимы, весны и лета, без произрастания хлебов да без урожая. Небось, — говорит, — через два-три года смирятся, станут мне в ноги кланяться, прощения просить».

— Та-ак! — пробормотал седой старичок. — Значит, в темнице она, осень.

— Освободить ее надо, — сказала Варя.

— Это мы и без тебя понимаем! — закричал рыжий мужичок. — Ослобонить! Какая шустрая нашлась! Вот ты сама пойди и ослобони. Только как?

— Дед Прохор сказал, что надо бы сплесть из паутины поясок с золотым волосом и доставить его Маше. Как она его наденет, тут же волки падут на землю, издохнут, а барсуки друг дружку пиками переколют. Вот я и надумала: не взялась бы ваша артель за это дело? Уж очень вы неприметные. Вам даже во вьюшку влезть ничего не стоит.

Седой мужичок встал, снял шапку, спросил:

— Ну что ж, артель? Соглашаемся?

— Соглашаемся! — закричали все мужички.

— На своих харчах?

— На своих.

— Тогда передохнем малость, заправимся и

пойдем.

Варя провела мужичков в пустой улей, валявшийся позади избы, и для первого дня принесла им туда хозяйский полдник — горсть жареного овса и кусочек творогу. Мужички сытно, не торопясь поели, потом разулись, улеглись поспать перед трудным делом. Укрылись армячками и так захрапели, что даже шмели притихли и начали слушать: что это за гуд такой несется из улья? Уж не враг ли какой туда забрался и точит на оселке еловые иглы, чтобы теми иглами с ними, со шмелями, биться?

Шмели послушали-послушали и полетели в сосновый бор прятаться на всякий случай в трухлявые пни.

Вечером, когда дед Прохор уснул, мужички смотали паутину, что висела в амбаре и в сенцах, промыли ее в бадейке с дождевой водой, просушили на ветру, пока не погасла на рассветном небе утренняя звезда, ссучили из той паутины пряжу на медной прялке и сплели поясок. И пропустили через него золотой волос.

— Испытать бы надо поясок, — сказали мужички Варе. — Чтобы конфуза не получилось.

— Ой, мужички! — испугалась Варя. — Да как же его испытаешь! Дед Прохор говорит, что в

наших человечьих руках тот поясок только два чуда может сделать, не более. Потом он силу теряет. А в Машиных руках он опять силу наберет и все сделает.

— А нам от него много не требуется, — ответили мужички. — В осенний край самый близкий путь через Великое болото. Да, сама знаешь, там не пройдешь. Кругом трясины. Они даже нашего брата засасывают, хотя и весу в нас всего ничего. Ты дойди с нами до болота, попроси поясок, чтобы он мост для нас через то болото построил. Раз построит — значит, сила в нем есть. А не построит — значит, и силы в нем нету. И нечего нам тогда в тот осенний край соваться. Только Маше досадим и себя погубим.

— Ну, так и быть! — согласилась Варя. — Пойдемте!

Мужички туже затянули пояса, в последний раз покурили и пошли.



Варя шла впереди, а мужички за ней следом, чтобы она, не ровен час, не наступила на кого-нибудь из них.

Мужички шагали шибко, только обходили кусты брусники да ныряли под папоротники.

На самой заре подошли к болоту. Варя вынула поясок, повязалась им, попросила:

— Поясок, милый дружок, построй через болото мосток!

Не успела она сказать эти слова, как вынырну-

ли из ржавой воды зеленые лягушата.

Было их великое множество — может быть, тысяча, а то и все три.

Лягушата растянулись цепью через болото, прижались друг к дружке, подставили спинки и кричат:

— Шагайте, мужички, смело! Мы вас не утопим!

— Ну что ж! — сказали Варе мужички. — Мы, пожалуй, пойдем. А тебе придется тут дожидаться. Давай нам поясок и прощай!

Варя отдала мужичкам поясок, и они ушли, даже ни разу не оглянулись. Да куда там оглядываться, когда надо смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на мокром лягушонке и не ухнуть с головой в трясину.

Мужички ушли, а Варя осталась. Ждала она мужичков до вечера, а их все нет и нет. Варя испугалась: уж не пропали ли мужички, не нарвались ли они на волков да барсуков и те их всех до одного перекололи.

Варя подумала-подумала и рассказала деду Прохору все, что случилось.

— Эх ты, глупенькая! — сказал дед Прохор. — Да нешто твои мужички с еловую шишку с таким делом сладят? Они же махонькие, маломерные.

Заместо силы у них одна незаметность. Наверняка стража их поймала. Пропали тогда эти отчаянные мужички, да и Маше худо придется.

— Что же делать, дедушка? — испуганно спросила Варя.

— Народ созывать, — ответил дед. — Всем миром надо собираться и идти выручать твоих мужичков и Машу. Беги, скликай людей на выгон. С вилами, с косами, с дрекольем, а у кого есть, так и с дробовиком.

— Сейчас, дедушка! — крикнула Варя и выскочила из избы.

А с мужичками случилось вот что: когда взошло солнце и стали таять-редеть туманы, дошли наконец мужички до осеннего края, остановились на песчаном бугре, долго глядели вокруг и только вздыхали — не приходилось им на своем веку видеть такую страну.

День, как на грех, выдался погожий, и до самого края земли стояли желтые леса и шелестели посохшей листвой. Все леса были запутаны паутиной, и на той паутине висела роса.

Мужички попили росы. Каждому хватило по две капли, только рыжий выпил все три. Потом они вытерли усы, крякнули: ну и вкусна же вода!

Да и то сказать — роса легла ночью, а ночь была по-осеннему холодная, ясная, переливалась звездами, дышала вялыми травами, и потому в каждой росинке был запрятан ночной холодок, запах травы и тихий блеск, будто отражение небесной звезды.

По всему было видно, что осень в этом краю затяжная, тяжелая.

На полянах ветер намел столько гнилой листвы, что мужички провалились в нее с головой — идти было почти невозможно. Поля стояли бурые, пустые, а в деревнях редко-редко струился к небу дымок из печей.

— Видать, что и варить здешним людям уже нечего, — тихо переговаривались мужички. — Все начисто проели. Сколько деревень мы прошли по задам, а ни разу не слыхали, чтобы корова замычала или даже петух прокричал. Будто вымерло все. Дай ему волю, этому подлому властелину, он наверняка всю землю опустошит, род людской пустит по миру.

Мужички шли, конечно, с опаской. Чуть кого-нибудь заметят — тотчас прячутся. Больше хоронились они в следы от лошадиных копыт.

Чем дальше шли мужички, тем темнее делалась осень. В лесах было холодно, тихо под

тучами, и красный лист, что еще не всюду осыпался, висел понуро на мшистых ветвях.

Шли мужички через лес, как, откуда ни возьмись, ударил вдруг страшный ветер, сорвал всю листву, закружил ее и понес проливнем. И стал задувать все сильнее, все крепче, покуда не поднял мужичков на воздух и не понес их вместе с листьями обратно к Великому болоту. Мужички испугались, летят, хватаются за ветки. Да разве удержишься при таком напоре!

Рыжий мужичок на лету перевернулся несколько раз, закричал:

— Это, братцы, неспроста! Ветер наслал на нас властелин, чтобы отшибить нас обратно, нам воспрепятствовать.

— Откуда же он дознался про нас? — прокричал мужичок с черной бородой.

— Жужелица наябедничала, заслала к нему своих приживалок. Они бегают шибче нас.

— Ой, дружки! — закричал мужичок с бородой вроде как пакля. — Несет нас в болото. Утопимся! Дед, у тебя поясок с золотым волоском. Попроси его. Может, спасет нас.

Седой мужичок торопливо вытащил из кармана поясок, опоясался им, крикнул:

— Поясок, будь дружок, прекрати ветерок!

— Стой! Не так просишь! — сердито закричал рыжий. — Это с какой же стати нам опять с Великого болота переться, ноги уродовать? Ты проси, чтобы ветер повернул обратно и нас до самой Маши донес.

Седой мужичок сообразил, закричал наново:

— Поясок, будь дружок, поверни ветерок! Пусть донесет нас до самых Машиных ног!

И тут ветер завыл, загудел, начал на полном бегу разворачивать, вздул к небу столько листьев, что понеслись они над землей, как красная туча, застили небо.

Теперь летят уже мужички куда надо, но только на душе у них все равно беспокойно.

Надеялись они, что поясок поможет им волков и барсуков победить, да вышло не так. Два чуда — с лягушатами и ветром — поясок уже сделал, а третьего не сделает, — силу свою он уже потерял.

Теперь только Маша может пояску силу эту вернуть. Придется, значит, с Машиной стражей биться им, мужичкам, не на живот, а на смерть.

Летят наши мужички, вниз поглядывают, а там проносятся леса, реки, озера, деревни, и видно, как народ выбегает из домов и дивится на листвяные красные тучи.



Вскоре заблестела за лесом тесовая крыша, ветер стал затихать и опустил мужичков на поляну около черного частокола.

Сидят мужички, одурели от полета, а лист, как только ветер затих, так все и сыплется на них, все сыплется и вскоре всех их засыпал, прикрыл. Тепло под этим листом и безопасно.

Мужички отдышались и стали соображать, как им ловчее через частокол перелезть и стражу обмануть.

Потому что, как ни крути, а драться им теперь было не с руки. Драку надо было оттянуть на самый худой конец.

Сидят они, рассуждают всю ночь, а к утру слышат — кто-то ходит по сухому листу, гребет его, будто ищет чего-то. Переглянулись мужички, а рыжий шепчет:

— Слыхали? Это нас ищут.

— Чего же делать? — спрашивают мужички.

— Я изо всех вас, — тихо отвечает рыжий, — самый отчаянный. Мне все нипочем!

— Это верно! — согласились мужички. — Отчаянности в тебе много.

— И опять же верткий я человек, горячий. И удар у меня очень даже сильный. Я как возьму топор, так за один мах ячменный стебель перерубаю. А вы пять минут бьете, покуда тот стебель осилите.

— Ну что ж, — вздохнули мужички. — И это, брат, верно.

— А потому, — важно сказал рыжий мужичок, — тот поясок вы отдайте мне. В случае чего, я один отобьюсь от всех волков да барсуков.

— Эх, Митрий! — вздохнул седой мужичок. — Стар я стал, ослаб, а то бы нипочем тебе этого пояска не отдал. Да еще бы и оттаскал тебя за бороду за бахвальство твое. Бери поясок.

Рыжий взял поясок, свернул, засунул за пазуху. В тот же миг над головой у мужичков листья

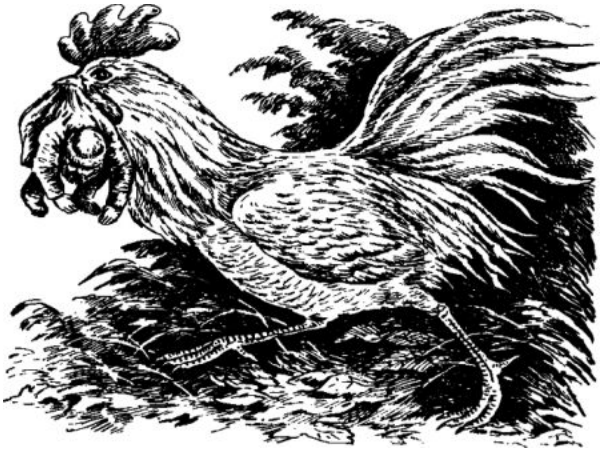
зашумели и просунулась к мужичкам петушиная голова.

Глаз у петуха был злой, круглый, а голос сиплый — видно, что нрав у петуха сварливый, грубый.

Лучше с таким петухом не связываться.

— Что за жуки? — спросил петух. — Я таких сроду не видывал. И не склевывал. Это очень даже мне интересно!

Мужички схватились было бежать, но петух быстро разгреб лапами листья, и седой мужичок вместе с черным и с тем, что отпустил себе бороду вроде как пакля, подвернулись под петушиные лапы, полетели в пыль, а рыжего мужичка петух так долбанул по спине, что тот только охнул.



Петух схватил его за армячок, зажал в клюве, помчался размашистым бегом к частоколу, протиснулся в дыру между бревен, пробежал через двор — и прямо в горницу к Маше, чтобы там на свободе непонятного жука с рыжей бородой заклевать.

«А то начнешь клевать во дворе, — соображал петух, — тотчас привяжутся стражники-барсуки: что это, мол, за жук такой, да где ты его взял, да отдай его нам, да чего ты тут со своим жуком мусоришь да так его клювом долбишь, что начальника нашего караула, волка, по имени Клык, разбудишь, и нам за то нагорит».

Через двор мимо стражи петух пробежал, конечно, рысью, а в горницу к Маше вошел важно: подымет одну лапу, постоит, шагнет, подымет другую лапу, опять постоит…

Петух был с Машей обходительный — она каждый день кормила его крошками.

Кинул петух рыжего мужичка на пол, только собрался клюнуть его покрепче, как рыжий мужичок вскочил, кинулся к Маше.

— Спаси меня, красавица!

— Да ты кто? — испугалась Маша.

— Да я вроде как твой спаситель, — поспешно ответил рыжий мужичок, схватился за подол Машиного платья, а сам на петуха озирается.

А петух глядит на него одним глазом и сбоку подходит.

Маша топнула на петуха ногой, петух взлетел в оконце, забил крыльями, заорал, сорвался во двор и тотчас начал болтать с барсуками, рассказывать им, как он, петух, опростоволосился — чуть не склевал человека.

Барсуки встревожились, кинулись будить волка, по имени Клык, да было уже поздно.

Рыжий вытащил из-за пазухи поясок, сунул его поскорей в руку Маше.

Она тотчас опоясалась тем пояском, и волки

враз зарычали и тут же издохли, а барсуки бросились было спасаться, да сбились в кучу около калитки, потому что каждому, конечно, хотелось пролезть в нее первым. Затолкались барсуки, заругались и начали драться. И перекололи друг друга вострыми казацкими пиками.

Маша подняла рыжего мужичка с пола, посадила себе на ладонь, и он ей все рассказал — и про Варю, и про своих товарищей по артели, и про то, как подрядились они с Варей освободить Машу-осень от властелина и воротить людям зиму, весну и лето, чтобы снова начала родить земля богатые урожаи.

Маша приказала рыжему мужичку позвать всех остальных, чтобы попили чайку, отдохнули.

Рыжий вышел на крылечко, крикнул:

— Эй, вы, маломощные! Ступайте сюда перед светлые-пресветлые очи Маши-красавицы! Она вас чайком желает угостить и даст каждому по сто маковых зерен с мелким сахаром.

Так оно и было. Мужички пришли в горницу, Маша усадила их на стол, угостила, чем обещала, а мужички проглядели на нее все глаза.

Уж больно хороша была Маша — косы отливают таким золотом, что от них светится вся горница, глаза синие, будто небеса над ржаными

полями, голос говорливый, как ручей, и вся она тоненькая, как травинка.

— А не принес бы тебя, рыженького, петух в клюве, — спросила Маша, — чего бы вы делали?

Мужички разом встали, поклонились в пояс Маше, ответили:

— Бились бы за тебя со стражей, милая, до последнего издыхания. Потому что, пока ты в заточении, народу не жизнь, а одно горе горькое и лютая смерть.

— Ну что ж, — сказала Маша, — теперь я свободная, и надо мне поскорей уходить, дать место зиме.

— Это верно, — согласились мужички. — Спасибо тебе за чай, за ласку. А мы уж пойдем.

— Куда так скоро?

— Нам нельзя. Работа не ждет. Подрядились мы еще летом с нашим крестьянским обществом все зерно, что полевые мыши уворовали да попрятали у себя в норах, у тех мышей отобрать и вернуть по назначению. А это работа тяжелая: в каждой норе скандал, а то, бывает, и драка.

— Ну, если так, то идите. Спасибо вам и Варе великое. От себя и от людей.

— Не стоит вашей благодарности, — ответили мужички. — Будьте благополучны, красота ва-

шей чести!

Мужички откланялись и ушли.

Не успели они отойти и триста шагов, как небо затянулось тучами и из тех темных туч посыпался снег. Что ни час, то снег делался все гуще, обильнее, тяжелее.

Сквозь него уже плохо стало видно дорогу. Все побелело вокруг, только лес еще горел кое-где над снегами последними золотыми листочками.

Мужичкам стало холодно. Зашагали они быстрее, а на самой границе осеннего края увидели вдалеке большую толпу людей.



Люди шли с косами, с вилами, с топорами, со всяким дрекольем, а иные держали наготове старые дробовики из вороненой стали.

Впереди толпы мужички увидели Варю. Узнали они ее по румянцу на щеках и по красному платочку, накинутому на голову.

Остановились мужички, сняли шапки перед обществом, поклонились ему в пояс.

— Благодарение за подмогу. Только мы и сами справились, ослобонили Машу-осень из заточения.

Все люди тоже сняли шапки, ответно поблагодарили и поздравили мужичков с еловую шишку с полным успехом и стали зазывать их по избам — погреться и выкушать чем Бог послал.

В каждой избе мужичков привечали и угощали то калеными орешками, то подсолнушками, то маком, то изюмом. А в одной избе мужички даже выпили по наперстку вина и закусили его моченой брусникой.

Варя дала им напоследок махорки, и мужички, сытые и пьяные, пошли в лес, где они обитали в старом теплом дупле, — отдохнуть перед новой работой.

Они шли, оглядывались, кланялись, а Варя махала им вслед варежкой и кричала:

— Спасибо вам, милые!

А с неба валил такой снег, что было трудно дышать. Отдышаться от такого снега можно было только под старыми елями. Но мужички и не думали прятаться от снега.

Они шли обнявшись, покачиваясь и пели на радостях во весь голос любимую свою песню:

Вот мчится тройка почтовая
Вдоль по дорожке столбовой.
И колокольчик — дар Валдая —
Гудит уныло под дугой…

Варя смотрела им вслед и слушала звонкую песню, что затихала за пеленой густого ласкового снега.

